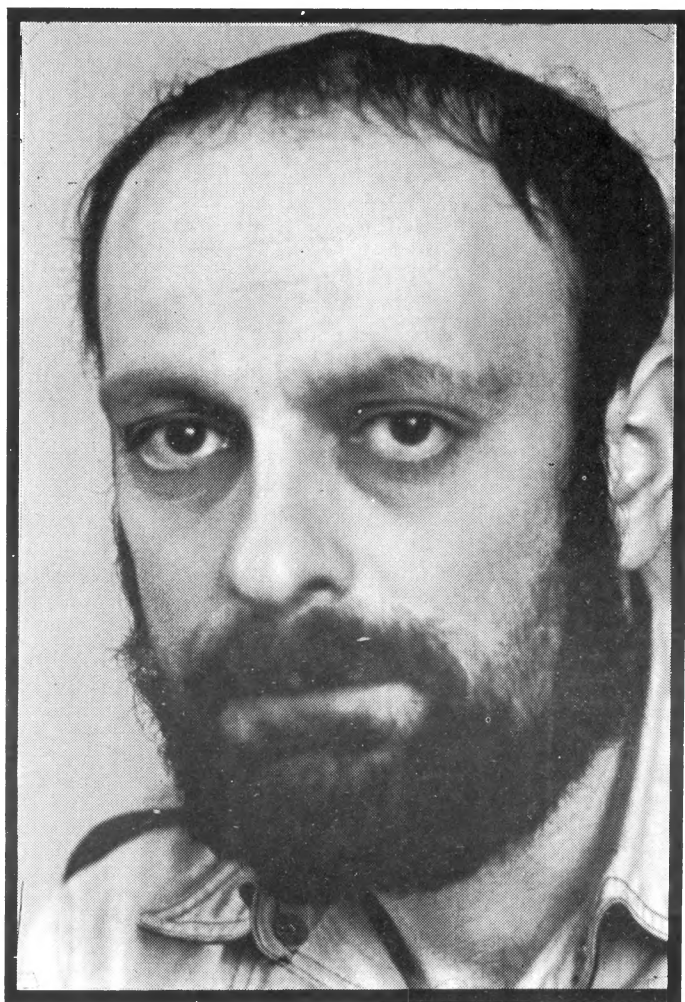


Юрий Карабчиевский

ПРОЩАНИЕ
С ДРУЗЬЯМИ





ЮРИЙ
КАРАБЧИЕВСКИЙ

Юрий Карабчиевский

ПРОЩАНИЕ

С ДРУЗЬЯМИ

ББК 84 Р7-5
К 21

Карабчиевский Ю.А. Прощание с друзьями.
Стихи и поэмы.

М. Б-ка альманаха "Весы"

Литературно-художественное агентство "ТОЗА" 1992. - стр. 96

Книга печатается
в авторской редакции



Художник Дмитрий Карабчиевский
Технический редактор Э.Е.Салерштейн

Сдано в набор 20.04.92. Подписано к печати 25.07.92

Формат 60 x 84/16. Бумага офсет. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 6. Тираж 500 экз. Заказ 2263. Цена свободная -

Литературно-художественное агентство "ТОЗА"

Москва, Нахимовский пр-т, д. 15

4702010201

К ----- без объявления

183(16) - 92

ISBN 5-85164-005-7

© Юрий Карабчиевский, 1992
© Дмитрий Карабчиевский, оформление, 1992

I. ТРАМВАЙНАЯ МОСКВА

* * *

Москва пропахла
потом и духами,
стихам и клятвам
позабыла счет.
Она стоит
в слепом июльском гаме,
как женщина
с красивыми ногами,
усталая,
не старая еще.
И мчатся ли троллейбусы
с жужжаньем,
скрипят ли в переулке
тормоза -
я обречен
с угрюмым обожаньем
смотреть
в ее спокойные глаза.
И что бы ни случилось -
рев команды,
рывок вначале
и удар в конце -
полоска
полустершейся помады
не шевельнется
на ее лице.
1965

* * *

Я проеду-пройду по Суцевскому валу
мимо прошлых занятий и бывших событий.
Изменяется к лучшему мало-помалу
мир, шипучий и мутный, как пена в корыте.

Где квартиру сдававший на час человек?
Где Полковник, просивший полтинник за ще.ку?
Или Витька Печенин, в предпраздничный вечер
возле бани сплеча отбивавший чечетку?

Все пропало. Окончился дьявольский праздник.
Только тихая баня дымит по старинке.
Да натужливо крикает мой одноклассник -
коренастый мясник на Минаевском рынке.
1967

* * *

Пока на Трубной не растаял снег,
не закипел дождем по тротурам;
пока последний встречный человек
не показался сгорбленным и старым;
пока слепая временная ось,
наш гордый дух расходуя в избытке,
не удлинилась так, чтобы пришлось
в далеких днях искать свои пожитки;
пока все это не произошло -
поторопись и поверни направо,
туда, где стены - битое стекло
и где забор - зеленая отрава.
Вот этот дом! Попробуй на куски
рассечь его. Увидеть в каждом слое
тоску его. Вобрать в свои зрачки
нутро его, усталое и злое.
Ну что? Ну водка. Туфли на плите.
Ну запах слез. Привычка к унижению...
Ты видишь сам, что в этой тесноте
нет места твоему воображению.
И все твои прилипчивые сны,
все - убедись - ничто. Пока не поздно,
взгляни еще, взгляни со стороны,
и воздух этой улицы тифозной
вдохни. Почувствуй бронхами, насквозь
усталость вида и погоды скверность.

Пока слепая временная ось
не вынесла тебя - в недостоверность...
1957

* * *

Трамвайная Москва тебя скрывает
в скрещенье рельс, в асфальтовой пещере,
в районе ощущаемого чуда,
за адовой чертой - черт знает, где.
Там судорожно дышит мостовая,
как днище раскаленной сковородки
и, как погромщик, в узком переулке
прямое солнце бьет по голове.
Но прошлое, лукавый лжемессия,
ведет меня на бреющем полете
в прохладное нутро воспоминаний.
Вот дверь твоя. Звонок - и я вхожу.
Мы десять лет не виделись, как будто?
Естественно, что ты не изменилась.
Утюг поставишь, сядешь, скривишь губы,
попросишь: "Расскажи мне что-нибудь".

Я расскажу тебе, как вечерами
произительна тоска о невозвратном.
Как страшен воздух, обогнавший время,
от тренья разогретый добела...
Ты тихо возразишь: "Я это знаю.
Скажи мне лучше, как твое здоровье,
где ты живешь, что делаешь, что пишешь,
какие фильмы видел без меня?"

Я расскажу, какие видел фильмы...
С короткой шеей и высокой грудью -
мой давний недруг, верный мой соперник, -
твоя соседка сонная войдет.
Когда она уйдет, уж будет поздно:
не начинать же исповедь сначала.
Ты скажешь: "Посиди еще немного",
что будет означать: тебе пора...

Трамвайная Москва гремит по крышам,
купается в расплавленном июле,
дымящееся варево готовит
из потных тел и пыльного тряпья.
И в этой мешанине растворившись,
я думаю: "Минуй меня, блаженство!
Ни исповеди легкой, ни прохлады,
ни прошлого - не надо ничего!"
1966

СОН

Эта улица так же узка,
как твоя голубая рука.

Этот дом, и забор, и крыльцо -
как твое неживое лицо.

Не войду, а взлечу в вышину
и прильну к голубому окну,

успокоивши душу сперва:
"Ты мертва, - я скажу, - ты мертва..."

Но за стеклами, в комнате той -
золотой и зеленый настой,

тяжесть лиц, и еда, и питье,
и над ними - живое, твое...

Заорать в этой страшной гульбе:
- Я жестоко ошибся в тебе! -

захочу. Но забуду слова.
Ты жива, - прошепчу, - ты жива!
1967

* * *

Но вот уже косым пером
ночь заполняет полстранички,
и всматривается перрон
в лицо прибывшей электрички.
Пока он узнает: она! -
и ловит рвущуюся мимо,
в стекле замерзшего окна
твое лицо - неразлично.
Но ты выходишь из дверей.
Что может быть на свете проще,
чем пересечь - скорей, скорей -
насквозь пустую площадь,
нырнуть в туманное нутро,
а там уже - иди и грейся
последним поездом метро,
автобуса последним рейсом.
А там... Тропинку замело,
но дверь еще не запирали.

И для тебя хранят тепло
две раскаленные спирали.
Входи. Будильник на столе
считать минуты перестанет
и с первой фразы на сто лет
наш разговор с тобой растянет.
Пусть свет негаснущих планет
по нашей комнате блуждает,
и мой вопрос, и твой ответ
на целый век не совпадает.
На луч, как бусинку, надень
неумирающее слово.
И будет ночь. И будет день.
И ночь. И все начнется снова...
1962

ДОМ ОТДЫХА

Дом отдыха. Сугробы снежные.
Фонарь, похожий на серьгу.

Протоптаны тропинки свежие
в глубоком голубом снегу.
Ночной состав кричит на станции,
таранца сонные глаза.
Сегодня в клубе вечер с танцами
и значит, переполнен зал.

Вошла. Еще твой взгляд растерянный
к потокам света не привык,
уже с улыбкой, парень стреляный,
к тебе подходит массовик.
И голос бархатисто-ласковый
плетет бессмысленную смесь.
И весь он маслянисто-лаковый
и как тюлень, блестящий весь.
Ты комплиментом не утешена
нет-нет, ему несдобровать!
Но ты веселая, ты - женщина,
и ты идешь с ним танцевать.
Его глаза мутны, как лужицы.
Мелькают тени на стене.
И все вокруг плывет и кружится
и исчезает в пелене...

Потом, покинув дом протопленный,
девчонок, пляшущих в кругу,
ты с ним идешь тропой, протоптанной
в глубоком голубом снегу.
И взгляд уже не возмущается,
и тяжелеет голова,
и поцелуи возвращаются,
и все прощаются слова.
Всему, всему на свете верится,
все сказка, а не сон дурной.
А ключ уже послушно вертится
в бесшумной скважине дверной...

Потом идешь в пальто распаханном,
твой путь деревья стерегут
в снегу, тропинками распаханном,

в глубоком голубом снегу.
Не просишь у себя прощения,
не ждешь спасения в слезах.
Но что-то кроме отвращения
застыло у тебя в глазах.
Там, дома, кто-то бродит скверами
и, папиросу теребя,
ругает ночь словами скверными
и ждет тебя, тебя, тебя...
А здесь... Дома в друзья не просятся,
лес полон страхов и примет,
и над трубою искры носятся
и стынут звездами во тьме.
1961

* * *

Обрываются в море скалы,
вниз уходят сплошной стеной.
Попадаются в море скаты,
чуть не в скатерть величиной.
Я плыву в полутемном гроте,
я гляжу в голубой уют.
Серебристые рыбы бродят,
крабы боком у стен снуют.
Дышат водоросли в молчаньи.
Простираются пустыри.
И пронизано все лучами,
исходящими изнутри...
Но потом, от удушья синий,
я мучительно всплыть хочу,
и лечу, и теряю силы,
и не чувствую, что лечу.
Воздух! Что тебя в мире лучше!
Я дышу, я плыву, я живу...
Вот сейчас я вдохну поглубже
и опять уйду в синеву.
1962

14-Е ОКТЯБРЯ

Снова градом густых купоросин
за окном сыпануло, как встарь.
Это ровная строгая осень
заглянула в ручной календарь.

Значит, верно, что все повторится.
Та же боль наострит острие.
А тринадцать тебе или тридцать -
это личное дело твое.

Для политпросвещенной беседы,
для сведенья концов и начал
собираются все твои беды,
обступают твой дом по ночам.

И ко дню подведенья итога
обозначится чаша сия:
уповать на судьбу и на Бога,
чтобы после пенять - на себя.

1967

* * *

Когда заботы звякнут по копилкам
случайно и невлад,
и возраст свой почувствуешь затылком,
как неотступный взгляд,

и вдруг поймешь, что жил среди отбросов,
витийствовал во тьму,
что некуда деваться от вопросов:
зачем и почему -

тогда ты бог. Пускай дарует ясность
решение твое:
простить земле слепую беспристрастность
иль наказать ее...

И, вырвавшись из вечного круженья
всего вокруг всего,

ты скажешь: Мир достоин продолженья,
а больше ничего.

Ведь что такое Мир, как не предместье,
предчувствие и весть?

Не надо ж ни прощенья, ни возмездья.
Останься все, как есть!

1967

* * *

Тоска вечерами такая,
такое стечение причин,
что я веселюсь,
развлекая
к хозяйке пришедших мужчин.

Болтаю, курю без затяжки,
минуты тяну кое-как;
в широкие чайные чашки
цежу тошнотворный коньяк;

терзаюсь какой-то ошибкой,
пытаюсь замять разговор;
и, выйдя с приятной улыбкой,
бегу облегчаться во двор.

И вижу: колышется шторой,
прикрывшей от улицы стыд,
глухая стена, за которой
хозяйка усталая спит.

Всю ночь ей сопутствуют страхи,
то стуки, то тени в окне.
Всю ночь она в длинной рубахе
дрожит, прижимаясь к стене.

Бледна от досады и злости,
от сдержанной страсти больна.

И слышит, как новые гости
терзают решетку окна...

1967

* * *

Как ни были бы мы в детстве уязвимы,
всегда найдется вымытая кухня,
пластинки, самодельный усилитель,
свисающие на пол провода.

Найдется торопливая беседа,
мальчишечьего полная азарта,
девчоночьего полная апломба -
загадочной и звонкой пустоты.

А там, глядишь, бежавший из Варшавы
старик-портной, добряк и ясновидец,
вснушчатými длинными руками
подхватит ускользавшие слова.
И как бы ни казалась безысходной
действительность - всегда найдется выход.
Опомниться. Понять. Уйти из дома.
Лечь и уснуть. Стать взрослым наконец!
1968

* * *

А лучше бы взглядами нам не встречаться,
мы дышим - мой город и я - вразнобой.
Мне б только проехать, пригнуться, промчаться,
открыть и вбежать и закрыть за собой.
Мне б только уменьшиться - знать бы словечко -
уменьшиться, сжечь корабли и мосты!
И жить среди робких кривых человечков,
которых с природы рисует мой сын...
1967

* * *

Цыганки бродят по Москве
в нарядах праздничных и пестрых,
и каждая - как южный остров,
лицо скрывающий в листве.

Ребенок тоже вышел в путь
под шалью бесприсветно-черной.
Ему в общественной уборной
дадут коричневую грудь.

Его судьба - гадать и красть,
сменять Кавказ на Подмосковье...
Палеолит? Послевековье?
Какой закон, какая власть?

Цыганки бродят по Москве.
Галдят и клянчат папирсы.
И в парке, распустивши косы,
сидят на стриженной траве.

И по асфальту площадей
ползут тяжелые, как гири.
Страной в стране и миром в мире
они живут среди людей.

И в этот мир нам хода нет.
И значит, мы ему не судьи.
Безвестные, чужие судьбы,
чуть слышный зов, чуть зримый след...

Цыганки бродят по Москве
в нарядах праздничных и пестрых,
и каждая - как южный остров,
лицо скрывающий в листве.

1965

* * *

Жара Куда-нибудь и с кем-нибудь!
Безбрежный город в иступленной пене.
Туманит зренье радужная муть,
и под ногами плавают ступени.

Троллейбусы кусают удила.
Не верится, не терпится, не спится.
И женщин раскаленные тела
едва прикрыты платьями из ситца.
1967

* * *

Кому там не спится, кому - приобщиться к утрате
в сердечной больнице, в проклятой инфарктной палате?
Там воздух недвижим, и желт, и на тяжесть испытан,
и шепотом выжжен, и запахом кислым пропитан.
Там круглые икры и мягкая поступь - у Тани.
- Сестрица, водицы, дохнуть не дает духота мне!
А вслух - бормотанье, а вслед - провожанье глазами.
А некогда Тане, сегодня у Тани - экзамен.
Готовься, готовься, смертельные случаи редки.
Я тоже готовлюсь, я тоже пугаюсь отметки.

За все небылицы готовлюсь к последней расплате
в сердечной больнице, в проклятой инфарктной палате...
1967

* * *

С утра живописец не ел ничего,
слабел, наполняясь истомой.
И Силы Небесные вместо него
водили рукой невесомой.

Осталось немного: иные места
подправить, и день этот прожит.
Он тяжкое бремя на плечи холста
с дрожащих - его - переложит.

Теперь бы настойки глоток, а нето -
хинину, довольствуясь малым.
И ноги не этим линялым пальто -
тяжелым укрыть одеялом...

И пользуясь тем, что он слушает мглу,
а мысли просты и убоги,
знакомая похоть садится в углу,
нахальные вытянув ноги.

В глазах у нее - и еда и питье,
дыханье ее - неотвязно.
И только беспамятство и забытье
спасают его от соблазна...

1967

* * *

Художник, расчетливый малый,
я понял, но ты отвечай:
За что ты звездой шестипалой
венчаешь людскую печаль?
Зачем твой старик на портрете
твердит Моисеев закон?
Не так ли все люди на свете
бедны и несчастны, как он?

Но волосы вьются. И сгусток
теней. И в прожилках щека. -
Так цепко хватает искусство
за пуговицу пиджака!
И вот уж - откуда берется? -
возникло и бродит в крови
к измученным единородцам
постыдное чувство любви...

1967

* * *

О чем ты думаешь, мыслитель,
числитель в формуле Творца?

Скала гранитная - хранитель
grimасы твоего лица.
Бумага верная - держатель
твоих рассеянных щедрот.
О чем ты думаешь, стяжатель,
свой ум пустивший в оборот?
На что надеешься, добытчик,
за что страдаешь на кресте?
Не только ж силою привычек
ты движим в этой пустоте.
Не только магией движенья
прикован к этому веслу.
Не только мерой уваженья
к предмету, слову и числу
ты измерим. Так в чем же слава
твоя? Величие твое?
Какого дьявольского сплава
тебя коснулось острие?
Ты слеп и глух. Ты болен в ы с ь ю -
жуешь нелепое словцо.
И изловчившеюся мыслью
искажено твое лицо.
1967

* * *

Чтоб вселенная луч нитевидный
не вонзила в твое божество,
чтоб не стала тебе очевидной
смехотворность труда твоего,
чтоб всеобщая прибыль и трата
не затмила событий и лиц -
соблюдай неуклонно и свято
безусловную узость границ.
За завесу молчанья и лени
загляни, объяви, предреки.
Но не выше соседней ступени
и не ниже последней строки.
1967

ДОМ ЛИТЕРАТОРА

два стихотворения

1.

Ах, есть еще на свете крабы,
шашлык, по выбору, любой,
литые люстры-канделябры
и стены с эт-такой резьбой!

А что в уборной? Обернитесь!
Не правда ль, вы потрясены.
Стоит живая знаменитость
в такой же позе у стены.

Стоит сама, представьте, лично!
и в п и с ы в а я с ь в колорит,
так просто, так демократично
(глазами только) говорит:

- Когда отрыжку от моркови
и робость тайную в груди
преодолеешь - заходи.
Поговорим о Смелякдве.

2.

Конечно, жаль! Слюнявый дурачок,
достойный обхожденья и покоя,
запутался, попался на крючок,
погряз и влип, и всякое такое...

Конечно, жаль. Но больше - наплевать.
Конечно, так. Но проще и короче.
И в этот раз, как станет зазывать,
и завывать, как прежде, и пророчить
слюнявым ртом словесные бои -
пройду не глядя. Не моя забота,
куда он денет тонкие свои
коксетливые пальцы идиота.

1967

ОДЕССА

четыре стихотворения

Свете

1. ПЕРВАЯ ОДА ГОРОДУ

Одесса, небо в звездах, аэродромный гул.
Как влажен этот воздух - от глаз твоих и губ!
Как жарко этим стенам - от рук твоих и плеч!
Как трудно в тесноте нам дыханье уберечь.
Чтоб соль твоя и копоть, и пыль твоих дорог,
и ласковый твой шепот - не въелись между строк.
Чтоб после заиканий не сдался, не привык
волной твоей, как камень, обкатанный язык.

2. УЛИЦА

Когда Петро пропьет свою получку
и ночевать завалится в подъезд,
по высветленной улице под ручку
прогуливают бабушки невест.

Невесты ростом бабушек пониже,
толсты ногами, взглядами мертвы.
Но, как и прежде, *крики* из Парижа
их украшают с ног до головы.

И кажется, что город не убавил
своих привычек, не дал их на слом.
И кажется, невыспавшийся Бабель
еще стоит у почты за углом.

Еще не стала музыка - потерей,
искусство не лишилось естества.
Еще живую кровь его артерий
не выпила безумная Москва...

3. ПЛЯЖ

Девиц озабоченных пляжная иноходь.
Парней уплывающих медленный зов.
Вчерашние дети, успевшие вымахать
в лукавых гимнастов, в пунцовых борцов.

Лежащим - хана. Их вдавило и скорчило.
Их принял как жертву расплавленный день.
Урчанье приемника - нет - неразборчиво.
Поближе бы надо, да двинуться лень.

Пространство на три подпространства распорото.
У каждого ритм и окраска своя:
дыхание моря, дыхание города,
дыхание тетки, заснувшей, жуя.

И вот отчего откровение высшее
опять моего не коснулось пера:
не вижу я города, моря не слышу я.
Жара. Оглушительный храп - и жара.

4. ПОСЛЕДНЯЯ ОДА ГОРОДУ

Дешевые бусы,
да ветер босой,
да дыни-арбузы,
да хлеб с колбасой,
да ночи - еще безрассудней,
чем эти базарные будни.

Но в слухах упорных,
ползущих за мной, -
зловонье уборных
и пол цементной.

- Не это ли пристань поэта?
- Не это, не это, не это!

Ты, город, ценитель,
ты чувствуешь стих,
ты строгий ревнитель
устоев своих,

ты нянчишь и юность и старость.
Так что ж ничего не осталось

от тех, отыскавших
и пристань и тишь?
И что ты мне скажешь,
и чем удивишь? -

жующий, снующий, картавый,
живущий просроченной славой...
1967

ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Мне кажется, что ветры могут дунуть
и разметать, не напрягая щек,
ограду, над которой мөгендувид
взлетел, как деревенский петушок.

Мне кажется, здесь все настолько хлипко,
натурально временно и напока,
что даже солнца вечная улыбка
насмешлива, как будто, и горька.

Все правильно: отжил свое - и в землю.
И вот, в ограду тычась бородой,
хромой служитель, съеденный экземой,
поет и плачет над чужой бедой.

А там, вокруг, толпятся монолиты,
и старичок в засаленном пальто
читает золоченые молитвы,
которых не прочтет уже никто.

Но старики, они неисправимы,
они упрямы, эти старики.
Весь грохот века, рвущегося мимо,
для них не стоит праведной строки.

Все ждут они, когда утихнут битвы,
и Кто-то там, в далеком далеке,
услышит их нелепые молитвы,
на древнем, как Планета, языке...
1963



МАРЬИНА РОЩА

шесть набросков тушью

Я белое утро в лицо узнаю

Б.Пастернак

1.

Трубят серебряные трубы,
я детство узнаю в лицо.
Стоят бревенчатые срубы -
два этажа, одно крыльцо.

Блатной гитары переборы
венчают ночь и утра ждут.
Ведут глухие коридоры -
Бог весть, куда они ведут.

Ползут коленчатые трубы -
прогрызла моль, проела ржа.
Стоят бревенчатые срубы -
одно крыльцо, два этажа.

2.

Средневековьем обдавая,
из улиц напознала тьма.
Стрелецкая и Полковая,
в косую клеточку дома.
Еще с тех пор, как чья-то светлость
о чью-то смелость на лету
споткнулась, и смогла оседлость
переступить свою черту, -
нелепость? проклятость скорее -
в домах, раздутых изнутри,
селились с той поры - евреи,
потомственные кустари.
Смысл ремесла легко усвоив,
в кругу разнузданной родни,
не то, чтоб было большинство их,
но задавали тон они:
лудили, гнали абажуры,
кресты, булавки, сапоги,

водили деньги, шуры-муры,
попойки, драки и долги.
И пусть вас участь эта минет -
мне по душе была она.
Я в тех кругах тепло был принят,
кормлен и выслушан сполна.
Мне открывались без вопроса:
гам голубятен, шорох рам,
размах жаргона, словно просо,
разбросанный по всем дворам,
и стук воды, что камень точит,
в котором различает слух
лукавый страх любимых дочек
и безысходный страх старух...
А впрочем, все казалось проще:
был смех и грех, был плач и счет.
Все вместе называлось: "Роцца".
Но было кое-что еще.

3.

Я помню смутную тревогу,
тоску с закушенной губой.
Она жила через дорогу
в дощатом домике с трубой.
Мужской своею частью домик
к ней испытал живую страсть:
голубоглазый грузчик Додик
вслух обещал ее украсть.
Мне эти бредни не претили.

Мне нравился развал, содом,
разбросанный по всей квартире,
с тех пор как помню этот дом,
с моих тринадцати и старше,
разноязыкий инвентарь.
Мать у нее была к у с т а р ш а ,
отец, естественно, - кустарь.
Они клепали, что попало,
до истощенья всех систем.

Но денег в доме было мало,
точнее, не было совсем.
Волна халтурная спадала,
терялась будничная связь.
Он пил, она недоедала
и, наконец, надорвалась.
Пошел молитв и завываний
зубной налипший порошок:
как плохо стало всем без Фани,
как раньше было хорошо...
Отец, заплаканный и слабый,
был прошлой жизнью покорен.
Но спал с какой-то пришлой бабой
неделей позже похорон.
Они шептались зло и глухо,
кровать скрипела, он вставал
и дочь от холода и слуха
тяжелой шубой укрывал.

4.

Дощато-каменная Роща,
гвозде-бревенчатая вещь!
Как ведьма встарь, она, пророча,
могла отталкивать и влечь.
Грозит, бранится и клянется,
скандал, разруха и беда.
Но вдруг под рубищем проснется
простая линия бедра.
И на лице, изрытом оспой,
в глазах запутанных ее
очнется взгляд, прямой и острый,
как в душном сердце колотье...

5.

Был сон. Не сон - видений горстка.
Недели длящийся мираж.
Стук каблучков у перекрестка,
подъезд - походка, взлет - этаж.
Седьмой. Паркет, балкон и мебель.
Как мудр отец, как мать мягка!

Сиянье фортепьянной меди,
простершейся до потолка.
И где-то комнатка потише,
пониже (может быть, чердак?) -
там шорох платья, шепот ниши
и грота обморок и мрак.
И в эту тайну, в это диво
меня, робевшего слегка,
как в повесть автора, вводила
непогрешимая рука...

6.

Финал такой. Я просыпался.
Я спал в сарае. Ныл верстак.
Дождь, накопившись, осыпался
и прыгал с крыши, просто так.
Окно захватывало краем
другой сарай в углу двора.
Он был прикрыт, но обитаем:
там шла какая-то игра.
Снаружи парни полукругом
топтались, харкали во тьму,
и выходили друг за другом,
и лезли внутрь по одному.
И вдруг застыли, как на снимке.
Качнулась дверь на злой петле,
и одноногая в косынке,
как маятник на костыле,
проковыляла. Тень былого,
ущербность жизни, мертвый свет...
Никто ей не сказал ни слова,
никто не обернулся вслед.
Минутой раньше, строчкой выше
хоть что-то было - ну хоть счет,
когда предшествующий вышел,
а новый не вошел еще.
И вот конец. Пустое платье
оправив на худых боках,

прошла. И вечное проклятье
за ней скользнуло впопыхах...

Я трясся. Медленно светлело.
Один, сквозь проблески зубов,
пробормотал: "Такое дело..."
Другой сказал: "И вся любовь."
1966

* * *

Покуда жил мой дед, так он, бывало,
весь день читал одну большую книгу,
с округлыми, как облако, листами,
в следах от указующих перстов.

Прочтет главу, потом наденет боты,
пойдет на двор - поговорить с соседкой,
посмотрит на темнеющее небо,
вернется в дом и скажет: "Так и есть!"

Что так и есть? - А все...
1968

ЕВРЕЙСКАЯ ИДИЛЛИЯ

Мой приятель, Володарский Сема,
выглядел светло и невесомо,
жил с отцом и матерью в каморке,
с форткой, выходившей на задворки.

Он любил играть на мандолине,
раз в неделю приходил к Галине,
пил чай и поедал варенья
и не к месту ставил ударенья.

А отец его был очень старый,
знал гипертонию и катары,
знал впридачу, кто такие: Будда,
Боткин и Менухин Иегуда.

Говорил он с нами без оглядки,
задавал нам мудрые загадки,
вспоминал попутно то и это,
никогда не требовал ответа.

Он жалел, что так и не учился,
так-таки ничем не отличился,
жизнь его прошла неинтересно,
не духовно, да и не телесно...

Умирал он на кровати, дома.
Говорил он перед смертью: - Сема!
Все забудь, сыночек, для учебы,
вылезай, мой мальчик, из трущобы...

Сема что ж? Женился на Галине.
Перестал брэнчать на мандолине.
Поменял квартиру и обличье
и преодолел косноязычье.

Выучился, став таким манером
радиосерьезным инженером.
И не знает ни дождя, ни тучки
от полочки - до другой полочки.
1967

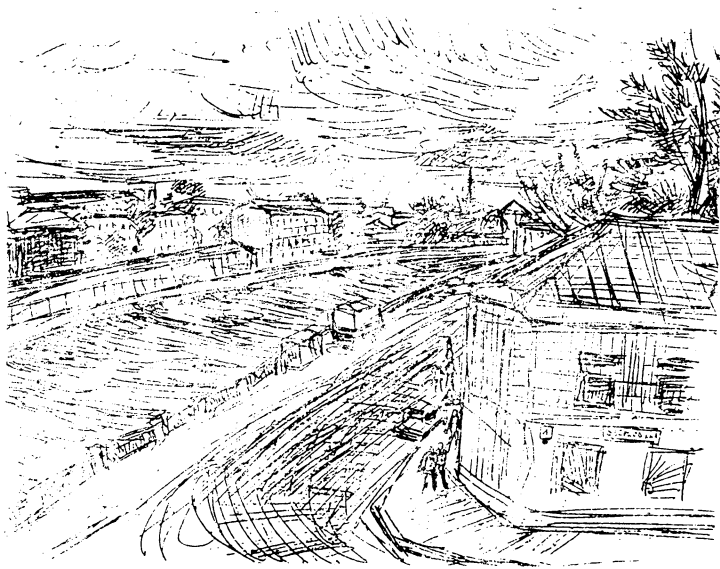
ЧТО Я МОГУ

Я могу разделить этот мир
на счастливых людей и несчастных.
А счастливых опять разделить -
по степени счастья.
А самых счастливых опять разделить
и так далее.
И окажется вдруг,
что самые-самые-самые -
это самые что ни на есть разнесчастные люди.
Значит, я не могу разделить этот мир
на счастливых людей и несчастных.
Но вот, что могу я сделать.

Я могу постоять на углу
между прачечной и магазином.
Пусть подходят ко мне
все хромые, слепые, горбатые,
все уроды,
себя сознающие вечно в обиде.

Пусть подходят ко мне
и, как честь, отдают мне частицу своих привилегий.

И во всю эту боль
я оденусь, как в новую кожу.
И не спрашивать, только не спрашивать,
много ли стало счастливых -
это самое большее, что я могу.
1967





II. ЧУЖОЕ ОКНО

СУМРАК

три стихотворения

1.

Я послушаю вас, чтобы там, в стороне,
самому не обмолвиться вслух ненароком.
Впрочем, нет, погодите, а вдруг - обо мне?
Ну, не прямо, а как-нибудь полупонамеком.
Я не выдержу. Я не владею собой.
Вы же знаете, видели, не погубите...
Я не тот, я обычный, такой же, любой,
я легко ошибаюсь в оценке событий.
Так легко ошибаюсь... Но этот крючок
в голове у меня - он всегда наготове.
Зазевайся на миг - и любой пустячок
устремляется в щеки каскадами крови.
О проклятье! Вы видите? - вот и сейчас -
за какой это грех, за какую ошибку? -
все иду, все никак не пройду мимо вас,
напряжением глаз сохраняя улыбку...

2.

По улице, по улочке, по краю,
по краешку, по стеночке, едва,
я двигаюсь и медленно вбираю
растерянные взгляды и слова.

Сцепившихся за гранью осязаний,
встревоженных - назад не отнесло б,
я вижу вас. Я двигаю глазами
и морщу переносицу и лоб.

Вчера еще - я верю вам - вы были
бестрепетно бредущими вразброд,
лиловыми, стальными, голубыми,
но выцвели - и кто вас разберет!

И жаль мне вас. И как ни презираю,
а двигаюсь без тени торжества
по улице, по улочке, по краю,
по краешку, по стеночке, едва...

3.

Ах, как холодно, ветрено, муторно!
Да и только ли это от ветра? -
Тяжек сон, одеяло полуторно,
боковая стена безответна.

Что сказать ей? Слова разбазарены,
позабыты моменты и сроки.
Не открыты причины испарины,
корни зла, роковые истоки.

Даже тьма не мычит и не телится,
а уж свет - никуда не годится,
потому что любая безделица
забытьем и позором грозитя.

Завтра, вместо привычного облика,
ахнет улица сталью излома.
И опустится на плечи облако -
потолком сумасшедшего дома.
1968

* * *

Непостижимая, немая пустота!
Дома бездомные тверды, как постаменты.
Равнобетонные негнущиеся ленты
тревожат отдаленные места.

И что немислимо, чего не может быть?
Все ожидаемо и все происходимо.
Все взгляды - поверху и все походки - мимо.
Но странно вымолвить и трудно подтвердить,

что где-то в городе, за каменной грядой,
играют маковки резьбой и позолотой
и дышат улицы сегоднешней заботой,
вчерашней радостью и завтрашней бедой...

1968

* * *

Огромные гири ползут, отмеряя века.
В огромной квартире четыре живут старика.
Три, впрочем старухи, один же и точно, старик.
Ничто их, ни мухи, ни стук не тревожит, ни вскрик.
А в комнате каждой впечатаны в пол сундуки.
И тяжелой поклажей полны от доски до доски.
И каждый окован, и каждый оправлен в металл.
А сколько там комнат, никто никогда не считал.
А я в закуточке сижу, не снимая пальто.
Дошедший до точки чужак, самозванец, никто.
Огромную книгу держу в потрясенных руках.
И к этому мигу другой не прибавлю никак.
Ах, только б украдкой его оттянуть, этот миг.
Когда на площадку сойдет попрощаться старик.
И я, обреченный, растаю, тумана верней.
В толпе отрешенной, в мелькании серых теней.

1968

ДВЕ МОЛИТВЫ

1.

Боюсь писать. Все тот же страх
струится потом, бьет ознобом,
лицом рябым и узколобым
стоит в распахнутых дверях.

Где свет? Какой сегодня день?
Нет слов. Пересыхает глотка.
И чья тюремная решетка
на стол отбрасывает тень?

Я знаю, знаю, этот бред,
водобоязнь бесчеловечья -

от слабогрудья, узкоплечья
и прочих досточтимых бед.

Но по ночам - что мне до них?
Ночами, над листом бумаги,
пошли мне, Господи, отваги -
я Твой пожизненный должник!

2.

Избави, Господи, от тени Мандельштама,
от на груди моей зияющего шрама,
от слов стреноженных, врывающихся в стих,
от растревоженных глазниц полупустых!

Оставь мне, Господи, мою немую душу.
Когда не вымокну, не выгорю, не струшу -
авось хоть что-нибудь смогу произнести.
А не получится - Господь меня прости...
1968

ПАМЯТЬ

А.К.

Что останется? Проблески, миги.
Все чужое, но это - твое.
Как плескалась река возле Риги,
если в ней полоскалось белье.

Как размокшие руки в морщинах,
там, где пальцы не тронул загар,
брали стебли усталых кувшинок -
твой никчемный и пламенный дар.

Как темнело, и как вы тянулись
к городской суете и возне.
(от угрюмой сутулости улиц
сладковато ломило в спине).

В междукрышье, в бездонную стужу -
рокот стен и дрожанье опор.
Так служил вам последнюю службу
холодеющий Домский собор...

Где бы дать себе волю и где бы,
как не здесь, убежать от судьбы!
Вознестись бы, вибрируя, в небо
продолженьем органной трубы.

Укрепиться на ясных вершинах
и спокойно следить вдалеке,
как усталые стебли кувшинок
умирают во влажной руке.
1968

* * *

Вся мокрая, подрагивают икры,
прошла по неостывшему песку.
Темнеет. Приближаются к виску
истощные ребяческие игры.
Тревожный ветер, кожу будоража,
колдует на поверхности воды.
Затихли толки. Канули следы.

Когда-нибудь откроется пропажа...
1968

ЧУЖОЕ ОКНО

Володе Лифсону

А там, в чужом окне, - уют и полусвет.
Взгляни - и угадаешь без ошибки
граненую кровать, незыблемый буфет,
неснешные движенья и улыбки.

Хозяева сидят, беседуя, вдвоем.
Расставлены тарелки. И мужская
тяжелая рука витает над столом,
в солонку хлеб размеренно макая.

Как мебель, по углам накоплено тепло.
Отхлынет, заколышется и снова
туманной пеленой ложится на стекло
дыхание пространства потайного.

И как ты ни устал, а веришь и непрочь
додумать продолжение обмана:
как нехотя на зов подымеется их дочь
с податливого старого дивана.

Не выспалась. Дрожит. Очнется лишь к утру.
Почудилось лицо в оконной раме...
И, тапок не найдя, все шарит по ковру
капроновыми длинными ногами.
1968

* * *

Марку Салаеву

Кабина лифта. Лестница. Зигзаг.
Вот я вхожу в отшельничью берлогу,
где в голубых доверчивых глазах
читаю: "добрый день" и "слава Богу".

До странности лишенный суеты,
здесь варит кофе ласковый хозяин,
и аромат, идущий от плиты,
как теплое дыханье, осязаем.

Там, за дверьми, остались на-пока
все точки приложенья и опоры.
Здесь нет усилий. Музыка легка
и сладко-бесконечны разговоры.

Слова летят, как бабочки на свет,
на голый стол садятся, как пушинки.
И явственно проглядывает след
перста судьбы на клавишах машинки...
1968

* * *

Эта улица помнит меня ребенком,
помнит подростком,
помнит юнцом -
и знать не знает, таким, какой я теперь.

Эта улица -
та,
где я был безраздельно влюблен
в каждую женщину,
шедшую мимо.
Где движения рук и сумочек,
бедер и ног
подчиняли ритму ходьбы
все мои представления о жизни.
Где июльскими приторными вечерами
слова мои,
как сухари,
мне кровавили рот,
и болезненным кашлем
рапирало мне грудь
самолюбие.

Эта улица -
та,
где я вечно испытывал боль -
от обиды,
от страха,
от зависти,
от пустоты...
И когда я стою на этой улице -
я такой, какой я теперь,
то печаль моя
не о сбывшемся,
не об ушедшем,
даже не о беспечности детства -
а только об этой боли.

1968

* * *

Запах мокрого снега - пароль беспокойного дня.
Замедление бега зимы, стерегущей меня.

Проявление снимка, которому тысяча лет:
озарение, дымка и снова затерянный след.

Снова та же дорога, опять голубые столбы.
Голубая тревога далекой весенней трубы.

Тихий голос о т т у д а . И не поднимая лица,
ожидание чуда. Всему вопреки. До конца.
1968

БАР

Андрею Битову

Пивные кружки. Лужи. Острова.
Мужское братство, тайное согласие.
Тяжелое пивное косоглазье,
на стол и вбок ползущие слова.

Официатка - белка в колесе.
Пивная грусть. (Не то чтобы, но все же...)
И озаренье, как мороз по коже:
и я такой, как все. Такой, как все!
1968

* * *

Над новыми детьми, играющими в "классы",
возносятся дома, не знающие крыш.
Чем, город мой, живешь, какие точишь лясы,
какие речи говоришь?

Что молодость твоя - все так же ли хранима?
Все так же ли душа невинностью грешит?
Не знаю, может быть, у движущихся мимо
не сводит кисти рук и в горле не першит.

Но для таких, как я, - пугающихся звука
шагов своих, для тех, кто так и не привык,

все праздники твои - одна большая мука,
все улицы - один большой тупик!
1968

* * *

Так я брожу - от угла до угла
пыльного города, душного дома,
как на ладони в лучах перелома
линия жизни моей пролегла.

Так суждено мне - у всех на виду,
с выбором ракурса, как вам удобней,
в этом ли, в будущем, в прошлом году,
безоговорочно, как на ладони.

Случай - уже для меня чересчур.
Только витаний туман и бесплотность.
Только усталость. И женских фигур
неисчерпаемость и безысходность.
1968

МНОГО ЛЕТ НАЗАД

С.Гутману

Две девочки, две лаборантки,
надсадный, отчаянный флирт.
Видавшие виды баранки
да чаем подкрашенный спирт.

Приборы, привычные глазу,
веселый, божественный хлам...
Казалось, за каждую фразу
полцарства обещано нам.

Еще мы потерь не считали.
Еще не упали в цене
те лучики предначертаний,
что плавали в синем окне.

Достаточно было на иоту
напрячь очумелые лбы,

чтоб даже позывы на рвоту
принять за призывы судьбы.
1968

ДИКИЕ ПЕСЕНКИ

девять стихотворений

Филле Лифсону

1.

О это одиночество блужданий,
скитаний в переплетах городских!
Бесчисленных хлопот и ожиданий
хватило бы на тысячу таких.

Ничья печаль не достигала слуха,
ничье лицо не брезжило в окне.
Москва, как многоопытная шлюха,
участливо поддакивала мне.

Ночами, отыгравшая в спектакле,
не сняв фаты, не вытерев лица,
она роняла вкрадчивые капли
на росчерки бульварного кольца,

водила помутневшими зрачками,
кривила рот, изображая боль,
и забывала так, за пустяками,
свою всечеловеческую роль.

2.

Локальный цвет, как праведник в пустыне,
ведет меня повсюду за собой.
Я вижу вечер - неизбежно синий
и день - бесповоротно голубой.

Я вижу дом - коричневые доски,
зеленых лип опора и причал.
Я слышу пенье: ария из "Тоски".
"Мой час настал!" - еврейская печаль...

Затем вступают медленные танцы,
и снова синий трогает до слез.
Лишь он намерен в памяти остаться,
один за всех, надолго и всерьез.

Чистейший цвет, пронзительная нота!
А впереди, на уровне лица, -
неясное, расплывчатое что-то,
бесцветное, как старая острота,
уже дрожит волчком водоворота,
в котором мне кружиться до конца.

3.

В рабочей столовой - еврейская буйная свадьба.
Две сотни гостей, полтораста бутылок "Столичной",
жених и невеста в конце бесконечного зала,
и пять музыкантов, и ребе в штанах полосатых.

Петлянье жаргона, широкая поступь иврита,
хромое, фальцетом, ущербное русское слово,
и четкий московский, небрежно сработанный выпад.

И вот я сижу над кусками холодного мяса,
над синей тарелкой с убогим пятном общепита,
тяжелую рюмку вращаю и думаю, кто я:
участник событий, как все, или просто свидетель?

Я просто свидетель. И если скажу вам по чести,
какие в башке под шумок собираются мысли, -
никто мне тогда на прощанье руки не протянет...

Но я же участник. Гони веселей, музыканты!
На мокрый поднос я последнюю брошу десятку,
пройду по кольцу, неуклюже носки поднимая,
и шаткие плечи, сутулые плечи соседей
крахмальным парадом пройдут у меня под руками...

4.

Осенний вестер - будто плач ребенка.
Два самосвала, гравий и щебенка.
Рабочий посвист, молодецкий шлях.

О чем сегодня речь в очередях?

Течет вода, просеянная в сите.
Текут слова. Весь город опросите -
нет никого, кто понял бы намек.

Мой старый плащ сваялся и намок.

Так долго ждать - а все сведется к мигу.
Пойду домой, возьму большую книгу
про черный хлеб, про казни в старину.

Читать не стану. Лягу и усну.

Увижу сон: лопочут балаболки,
гудят гудки, выплескивают полки
все то, что накопилось между строк.

Осенний день злопамятен и строг.

5.

(Достоевский)

Как поступь легкая, как платьице в оборках -
так тяжкий промысел подкованных сапог.
Вся мебель продана, вся комната прогоркла,
сам князь по старости опомниться не смог.

Но деньги набраны. Хотя не в деньгах дело:
раздать и выбросить, и сжечь, и проиграть...
Записка послана (ах, как она глядела!)
и слуги вызваны, и велено - убрать!

За что, о Господи! Пока пылится скрипка,
быть может, музыка... Но сразу за углом -

мужик таинственный, зловещая улыбка,
в судьбе и в повести зияющий надлом.

Ах, как же, маменька, вот так и удавиться?!
А муки совести? А складки на пальто?
Неукоснительно! Подследственно явиться!
Что ж нам останется, останется ли что?

А нам останется - дрожать от нетерпенья,
и жадно хмуриться, и щуриться хитро,
пока слагаются бесовские творенья
из строк отрывистых, прочитанных в метро.

6.

Так мало - и уже пора
остерегаться предсказаний,
ценить часы и вечера
в пустом углу под образами,
сосать хлебец, тянуть винцо,
шутить легко и насмех курам,
и просветленное лицо
встречать старушечьим прищуром.

7.

Утро звенит топором и стамеской,
строит узоры, кресты и круги.
Желтое марево за занавеской.
Дом опустевший. Босые шаги.
Пачка пельменей на мокрой клеенке,
мокрых ножей порыжелая сталь...
Пвльцы Шопена прозрачны и тонки,
и доверительно робок рояль.

Господи, мне ли его откровенья!
В грязном подоле судьба принесла
черных сирен сумасшедшее пенье,
черных пластинок литые тела.
Вот я зажгу запоздалую спичку,
чайник поставлю на угол плиты,
там, вдалеке, попрошу электричку

остановиться у края черты.
В кратере леса, в зеленом вулкане -
вся моя боль и пожизненный плен.
В жарком дыхании матовой ткани,
в жадном касании рук и колен.
Вся моя жизнь - в затяжном повороте
легкой мелодии, бьющей со дна.
Над пузырьками в серебряном гроте
долгим покоем душа сведена.
Только с годами, когда возникает
тема прощания, - только тогда
утро звенит, и рояль замолкает,
и на плите закипает вода...

8.

И снова и холод, и дождь,
сечется и сыплется крошкой.
И чудится, будто идешь
в ни разу не бывшее прошлое.

Все громче звучат голоса.
Москва, из тумана возникшая,
как женщина, мне изменившая,
устало отводит глаза.

9.

Очень холодно. Некуда деться.
Что за место, никак не пойму.
Тьма такая, что, если взглядеться,
видишь ту же кромешную тьму.

Всякий вывод, любая оценка -
беспольный и каторжный труд.
Как ты думаешь, сколько до центра -
километров, копеек, минут?

Как ты думаешь, там на Неглинной
разливают ли свет фонари?
Перекладиной сказочно-длинной
запирают ли дверь изнутри?

Заполняют ли шорохи ночи
неподвижно-задумчивый дом?
И звучат ли шаги одиночек
все короче под каждым окном?

Здесь во тьме, где могильная сырость
растворилась уже в нас самих,
мне привиделось, или приснилось,
или так показалось на миг,

что маячит последняя точка,
заслоня пространство и свет,
и уже ни клочка, ни кусочка
не осталось от старых примет.

Город пуст и на части расколот.
И в молчаньи, сводящем с ума, -
та же тьма и пожизненный холод.
Окончательный холод. И тьма.
1969



III. ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ

ИЗ-ЗА КУЛИС

из цикла "Театр"

Мне кажется, прежние мерки
уже велики для меня.

И я в городок в табакерке
вступаю средь белого дня.

На сцене под сенью навеса
(завеса, стена, небосвод)
идет производство процесса,
процесс производства идет.

А просто - выходит артистка,
садится и книгу берет.

О как неоправданно близко
ее подбородок и рот!

Как предосудительно близко
дешевой судьбы поворот!

Зачем она все рассказала?

И плачет теперь - почему?

Я понял бы это из зала,
но вряд ли отсюда пойму.

Вчера еще, напрочь отмучась, -
в пустыню, в провал, на покой! -

И снова решается участь,
и ясности нет никакой.

Опять в этом голосе странном
повернуто вспять колесо.

И застланы очи туманом,
и будь оно проклято все!

И жизнь наша горечи горше,
и сам я в холодном поту,
когда от беды костюмерша
уводит ее в темноту.
1969

ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ

Оделись. Стоят, балаганят.
Безвыходно. Душно. Трясет.
Никто никого не обманет,
никто никого не спасет.

Спускаются. Хлопают дверью.
Смеются. Молчат. И опять...
Что хуже всего: я им верю
и все же пытаюсь понять.

Дурацкое свойство рассудка -
искать существо и костяк.
То - шутка, а это не шутка.
То - важно, а это пустяк...

Ты знаешь, сегодня мне жутко.
Не в меру, не просто, не так.

Сегодня, в тоске коридора,
испарину чувствуя лбом,
я понял бессилие спора -
любого, с любимым, о любимом.

Впервые за многие сроки
я понял далекий намек:
мы так же с тобой одиноки,
как каждый из нас одинок.

И как этот факт ни обыден,
а холод прошел по спине...
Погасим же свет и увидим,
посмотрим, увидим в окне,

как в ночь удаляется к т о - т о,
в снегу оставляя тропу...
И на три крутых поворота
закроем свою скорлупу.
1969

* * *

Бесполезно копить обиды.
Ни на ком не найти вины.
Все мы сечены, все мы биты,
бриты наголо, клеймены.

Как во сне: только рожа хамья,
только ужас тупых угроз.
Заорал бы - да нет дыханья.
Побежал бы - да в землю врос.

Стал бы требовать - а на деле
только жалобно попросил.
Никаких, ни в душе, ни в теле,
никаких не осталось сил.

И пока набухают почки
от попыток и от потуг,
если даже прорвутся строчки,
все равно мы дойдем до точки.
В наши тесные одиночки
не проникнет условный стук.
1969

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

1970 - 71

1.

Далекая сказка, веселая пьянка,
волна междометий - иная эпоха!
Еще перед этим гадала цыганка
и так раскидала, что вышло неплохо.

И мягко стелила Ружена Сикора,
легко целовала, журила нестрога.
Чуть-чуть подпевали и думали: скоро.
Еще погрустим, но осталось немного.

Хмельное желанье, глядящее в оба,
садилось вплотную, теплей и удобней.
Текли малярйные токи озноба
сквозь тонкое платье на кожу ладоней.

И только на миг разрывала сцепленье
та трезвость, когда становилось похоже,
что лук по тарелке пошел в наступленье,
вуаль по стаканам и поры - по коже.

Из будущих лет возвращалась минута.
И вот, в безутешном беззвучьи обвала
лукавая ясность, печальная смута
холодным дыханьем глаза промывала.

2.

Сны нашей юности, восторги ожидания,
предвосхищения сияющих ночей -
как торопливые цыганские гаданья,
всегда сбываются, до самых мелочей,

они сбываются, но дар истолкованья
приходит с опытом и не без опозданья,
и не без помощи лукавых толмачей.

Всеобщий выкормыш, а в сущности, ничей,
дар умудренности, подарок назиданья
воронам пуганым - от тертых калачей...

3.

Снегов распаренных и памятных лесов
мой город ближе мне: он сам меня рвнует.
С утра до вечера все вертит колесо,
с утра до вечера никак не колесует.

Уж как рискованно я ни ругаюсь с ним,
каким опасностям я с ним ни подвергаюсь,
а в нору дымную вползаю невредим,
ежемучительно - и сам себя пугаюсь.

Как верный выкормыш, и я незаменим.
Вот он беснуется - я не подам и виду.
И лишь по времени, загубленному им,
ежемучительно справляю панихиду.

4.

Я сам не свой, хоть я и сам не ваш.
И вам не друг, но и себе не пара.
Котомку в руки! Лубочный мираж:
изба в лесу и встречи у амбара.
Котомку в руки! Только хлеб и кров.
По-братски, по-мужицки, по-котомски!..
Пока я глухну от чужих пиров,
двойная жизнь, моя дурная кровь,
уродством пробивается в потомстве.

ДЕВЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

1973

1.

Все тот же след под колесом.
И есть отметки, на которых,
как спотыкающийся сон, -
весь в раздвоеньях и повторах.
Литые серые дома,
углы дворов, провалы арок
опять свободны для ума,
как будто пьесы без ремарок.
Веками выправлена роль,
сюжет оставлен без движенья,
но тень и свет, но суть и соль -
вопрос игры воображенья.
И вот на набережной тишь,
пейзаж опаслив и статичен,

и ты не едешь, а стоишь,
и жизнь без клятв и зуботычин,
сама выходит из границ
и вся нуждается в ответах -
от перчитанных страниц
до чувств и мыслей перепетых.

2.

Два памятника

(Гоголь)

Деревья зелены, стройны и моложавы.
Арбатский выводок, как вышитая гладь.
Все это выросло из песен Окуджавы
и жаждет вымысла и просит подождать.

Созреет прошлое, распусться легенды,
стихи прорежутся, как зубы у детей.
Придут рабочие, борцы, интеллигенты,
четыре дьявола и тысяча чертей...

Нельзя без прошлого - карается законом.
Но слава Господу, не выставлен на свет
за льдом и пластиком, за кварцем и бетоном,
старушка в плащике - наш гений и поэт.

Скажите, бабушка, скажите, милый рабби,
какое прошлое вам больше по нутру?
Петлянье в сумерках, сияние в оправе,
веселье с девками, похмелье поутру?

Не в лоб - так вывертом, не впрямь - так по-иному.
Укоры совести провидцу не к лицу.
Они уродуют. Верните их больному,
над неизбежностью застывшему писцу.

На светлой площади, неведомый страданьям,
прекрасен почерком и мыслями велик,
ему приходится не родичем ли дальним
ваш до беспамятства заласканный двойник?..

3.

Толпа уродов и калек,
Ненасытимая орава!
Что вор, что Божий человек -
всяк на тебя имеет право.

Тебе бы - двери на засов,
задуть свечу, забыть тревогу,
и в счете капель и часов
молиться ласковому Богу.

Или кивнуть последний раз,
уйти, не мысля о награде,
и с хлеба черствого на квас
перебиваться Христа-ради.

Да только счастья, что уснуть.
Качайся маятник считалки:
забыть-забудь,
забыть-забудь.

Ни завтра, ни когда-нибудь
ты не наполнишь ветром грудь
и в путь не выстругаешь палки...

4.

Такой соблазн - вагон и полка!
Твой путь расписан по канве,
ты сам затерян, как иголка,
а мысли в легкой голове,
как дети, прыгают, не ссорясь,
вокруг далекого креста,
где успокоенная совесть
лежит крахмальна и чиста.

5.

Я говорю: "пойду пошляюсь,
весенним дождичком упьюсь..."
И так похоже притворяюсь,
что никуда не тороплюсь.

Я ловелас. Я ловкий малый.
Веселый, стреляный, бывалый.
Я молодой не по годам.
Я предпочтение отдам
вон той, которая одета
в пальто безоблачного цвета,
незамутненное пальто -
не обернется ни за что...

А я сверну, пройду по скверу,
сглотну тягучую слюну,
как недостойную химеру,
с ресниц видение смахну,
швырну газетку на скамейку,
поставлю вымокший портфель,
прочту стишок, прочту статейку,
в Перми ли розыгрыш, в Уфе ль...

Чего желать, какой забавы,
каких таких забот и благ?
За пару слов и пачку "явы"
отдам свое, разжав кулак.
Пристроюсь в очередь к шашлычной,
потом к кино переметнусь,
и там и тут - равно привычный,
такой же ферт, такой же гусь.

И если рашпилем по коже
дневная мудрость полоснет,
я так скажу:

Сегодня - пожил.
Когда еще Господь пошлет?

6.

Никаких перемен, как лицо ни царапай,
как ни буйствуй с отчаянья, как ни зверей.
До скончания дней - лопухом и растяпой,
от автобусных, наспех закрытых дверей -
до скончания дней - добиваться искомых
(пух и прах, алкоголичья злая слеза...)

и пылить в дурачках, и сучить в насекомых,
избегая знакомых и пряча глаза...

7.

Колючей памятью Ван-Гога
я обречен увидеть сам,
как бьется в панике дорога,
клубясь и дыбясь к небесам.

Я обречен узнать на деле,
как речь больного горяча.
Как мерно кружатся недели,
под нос заклатья бормоча.

А двери нет - глухая вата.
Кричи и пой до хрипоты.
Судьба ль пред нами виновата,
мы ль перед нею нечисты?

Но нам обходится дороже.
Конец - у черного окна,
где только собственная рож
в толне кругов отражена.

Дробится, множится тревога,
ни сна, ни лучика, ни зги.
И заколдованы круги -
как в черном небе у Ван-Гога.

8.

Норе

От резкого света, от колкого снега, от ветра -
в уютное лоно, в нагретую вату тумана.
На целую жизнь - ни кивка, ни плевка, ни ответа.
Чужая тоска, как свобода, близка и желанна...

Но что мне свобода, осипшему с горя кликуше?
В себе и с собой проношу я тревогу и смуту.
И близкие души, спокойные взгляды и уши
истощной мольбой обращаю к себе на минуту.

Зачем мне свобода, когда, спотыкаясь устало,
все дальше и дальше уходят друзья-человеки.
А та одинокость, которой нас юность питала,
как чистая радость, уже недоступна вовеки...

9.

Прямая речь! Покровы сняты.
Звучит основа и канва
Как в бане голые солдаты,
толпятся голые слова.

Прямая речь пряма, как выстрел.
Эпитет тяжек, как свинец.
Моли Творца, чтоб не убыстрил
в сердцах назначенный конец.

...А тихий призрак урагана
уже пасется в стороне,
и Откровенье Иоанна
гремит в застольной болтовне.

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

1974

* * *

Материя, добрейшая праматерь,
нас всех зовет друг с другом породниться
Сравниться и поймать себя на слове,
чтоб воплотиться в образную речь.
Что впереди? - Великая страна.
И люди и предметы - как китайцы:
все всем родня и все на всех похожи,
и где десяток - там и миллион.

Великая и чуждая страна.
Решил войти - перемены походку.
И оглянись: не много ли теряешь?
Где - то, что ты любил? Где здравый смысл?
Навyleт в грудь, не перейдя границы:
до слова "как" - и сразу наповал!..

ПРОСТАЯ ПЕСЕНКА

Памяти Олега Максимова

Прольются звуки стороной,
и что с собой ни делай,
и где ни стой, за чьей спиной,
за черной или белой -

слова, что вырвались на свет
из тайных и затворных,
теперь безличнее монет,
общественной уборных.

Не нашим помыслам начать
иное исчисленье:
на них смертельная печать -
печать осуществления.

Водой становится туман,
безмерность - расстоянием,
а сокровенный талисман -
народным достоянием.

И все ползет само собой,
пока не лопнут нити
и не окажется судьбой -
стечение событий.

АНГЛИЙСКИЕ ЧТЕНИЯ

Полутемно. Двойные рамы.
И звук, и цвет приглушены.
Слова уклончивы, упрямы,
белы, суставчатые, черны.

Неловкой памяти метанья:
вперед, назад, куда ни шло...
И возникают очертанья
сквозь запотевшее стекло.

Сначала мир изображений,
как тень, распластан по стене,
и траектории движений
прерывисты по всей длине.

Но вот толчок. Круги и пятна.
Подземный, капающий свет.
Вопрос потерян безвозвратно,
но утешителен ответ.

Еще словарь (не вышло б фальши)
частит. Но мир уже спасен.
Что там в углу? - Неважно, дальше!
Уже не бред, уже не сон -

А замкнут круг и новый начат.
Он жаждет сам себя прочесть.
И значит он не то, что значит,
а то, что так оно и есть.

И эх, пошел, крутые горки,
не расшибить носов и лбов! -
Как содрогается в восторге
язык, зажатый меж зубов.

И ряд вещей - как ряд везений.
И сладок путь, и близок дом.
И вязкий след произнесений
прочерчен в воздухе тугом.

* * *

В гармонию из хаоса и праха
без Высших сил не выстроить моста.
Что б ни было, Хайяму от Аллаха
являлся свет. И Данту - от Христа.

А я, чужак, пролезший к караваю,
беспечных гимнов первый ученик,
я здесь во тьме мучительно взываю
к любым богам, кто ближе в этот миг...



IV. ТРИ ПОЭМЫ

ЮБИЛЕЙНАЯ ПРЕЛЮДИЯ

*Какой обыкновенный день,
Как невозможно вдохновенье!
ОМандельштам*

1.

Сегодня день - какой-то юбилейный.
Не помню точно, что за годовщина,
но чувствую, что круглое число.

Мне хочется отбросить чувство меры,
забыть пути сокрытия мотивов
и сдержанность, присущую эпохе,
на пять минут послать ко всем чертям.
Мне хочется побыть сентиментальным,
и думаю, я это заслужил
нижайшей службой строгости и вкусу.
Так вот: довольно и ко всем чертям!

2.

Я не сужу - я только вспоминаю.
Мне видится мерцающий каток,
охваченный безумием погони.
Пощады нет. Вращается машина.
И стоило бы музыку унять,
чтоб слышать учащенное дыханье
и смутный гул разгоряченных тел.
Все сцеплены дрожащими руками,
раскрыты рты, навывкате глаза,
как в миг, когда уже, помимо воли,
вовлекся - так отдашься до конца...
И где-то по ухоженной кривой
я тоже мчусь и жажду потрясений,
и весь заряд растратив до конца,
как стреляная гильза, - вылетаю.

И остаются будни раздевалки,
где все равны, где сладок лимонад,
и боль в ногах сладка до одуренья.
И Боже мой! - широкие ступни,
растоптанные старые ботинки,
идти домой, коньки через плечо,
и быть как все - не лучше и не хуже!
(А думать так: "Я все могу, как вы,
но я могу и кое-что другое...")

3.

Я рос в огромном деревянном доме,
где улицей казался коридор;
где потолки терялись без остатка
в таинственной и черной вышине;
где комнаты, как пьяные соседи,
наперебой теснились друг за другом;
где среди ночи щелкали засовы
и женские, слабеющие крики,
как призраки, носились по углам.
И в этот дом... Но лучше по порядку.
Мне в этом доме не было удачи,
и комнаты своей я не любил.

4.

А я любил мерцающий коток,
любил осенний отсвет тротуаров,
а летом шел шататься по бульвару,
легко локтями девушек касаясь,
которых я любил - за непонятность,
за узость лиц и странность голосов.

Вот мы идем - и тайна, тайна, тайна! -
трикратно повторенная - меж нами.
Она их одевает пеленой,
бесплотную, но плотно одевает
и разделяет кожу наших рук
в прикосновеньи и рукопожатьи.

И остаются только два пути.
Один - к девчужке с черными кудрями,
при фартучке, с портфельчиком в руках:
Асфальт, от пешеходов и жары
намаявшийся за день и осевший;
дрожащий голос, крепнувший по мере,
и наконец-то прорваны преграды
и вот он, откровенный разговор,
где все, как есть, и все, как на ладони...

И путь второй. Округлая соседка,
в до пояса распахнутом халате,
выходит умываться по утрам.
Вся налегке, вся будто наготове,
она мне светит розовым коленом
и словно бы ушибленные бедра
поглаживает, глядя на меня.
И фразой полувзрослой отбиваясь,
я думаю: "Ау, чем черт не шутит?" -
хоть точно знаю: э т и м он не шутит.
С другими - да, но только не со мной...

6.

По праздникам, на редких вечеринках,
в ночные полумертвые часы,
когда, как дети, парами садятся,
и кто-то шумно возится с бутылкой
(едва посмотришь - горло перехватит),
все веселы, как надо, и одеты
в парадно-неуклюжие костюмы,
и несъедобный запах винегрета
холодным ветром ходит вдоль стола, -
по праздникам мне кажется, я ближе
едва ли к посвящению - но к разгадке.
И оттого я только и терплю,
и пью, давясь, и торопливо ем,
и отдышавшись, говорю остроты -
пускай без сотрясения и отдачи
их поглощает ватная стена.

7.

И вот однажды на исходе ночи
 (Девчонки спят. Прически и чулки,
 и платья, за ночь ставшие короче,
 и близость тел, и легкий запах пота -
 тревожат ум. Но в мыслях даже нет -
 притронуться к коленям угловатым).
 И вот однажды на исходе ночи
 я покидаю временное ложе
 из шатких, самодвижущихся стульев,
 беру пальто и молча выхожу.
 На улице мороз. Железный ветер
 подхватывает бережно подмышки
 и лезвием проводит по лицу.
 Нет никого. Москва осиротела.
 Один лишь я, приемыш и подкидыш,
 не пасынок, но также и не сын,
 один лишь я подковками стучу.
 (Я на Москву несколько не в обиде:
 я ей чужой, хоть мне она своя.
 Что б ни было, я верен ей до гроба
 и от ее улыбки никогда
 не отведу слезящегося взгляда...)

8.

Куда же я иду? Все мимо, мимо,
 заплеванные злые подворотни,
 унылые доходные дома,
 могила дней, опора общежитья,
 висящие из форточек авоськи,
 да елочно-бумажный подоконник
 сквозь облако крошечной духоты...
 Мне холодно. Иду. Все мимо, мимо.
 И фонари, лукавые, с прищуром,
 кладут разнокалиберные тени
 и множат их, стократ перекрестив.
 Все разные, то ярче, то бледней.
 Вон та - моя, а эта - как чужая.
 И вот уже почти помимо воли,
 почти перегибаясь пополам,

я поднимаюсь черным коридором
по деревянным скачущим ступенькам
и упираюсь в запертую дверь.
В такую ночь! И дома ли она?
В такую рань... Какую бы записку?

Не видно строк, увертлива бумага,
и мокрая клеенка холодна.

9.

Проходит день. Я дома. Я один.
Я одинок. И что бы ни случилось,
да будет этот день благословен!
Ведь если нет причин, то есть надежда.
И смутная тоска освобожденья,
неясная тревога ожиданья -
стоит неслышно за моей спиной.

А дом дрожит от буйного веселья.
За стенами, за стеклами, за дверью -
вершится праздник, точный, как закон.
Уже ракетой вспыхнула частушка
из тех, что залежались дольше срока,
от прошлого оставшись торжества.
И честная, старательная пляска
расходится на десять направлений,
и от уборной вдоль по коридору
в блевотине лежат ее пути...

10.

Но в этот дом уже идет О н а.

11.

В семнадцать лет, в беспмятное время,
я обитал в четвертом измереньи,
не видя лиц, не слыша голосов.
И вот, когда, с усилием очнувшись,
я возвратился в лоно преисподней -
моя среда меня не приняла
и всем давленьем вытесненной массы

неумолимо выжимала вверх,
в иные сферы, в чуждые края,
в возвышенность ступенчатых парадных,
в простор необитаемых квартир,
где, встретившись случайно на площадке,
я говорил бы как бы между прочим
щекотные и теплые слова,
такие, как "прихожая", "лифтерша",
"звоните мне с утра", "я принял ванну" -
и всякую иную дребедень...

Но пасынку заплеванных окраин,
булыжных недр и жарких подворотен,
мне некуда идти. Я жду Невесту -
доподлинную дочь моей Москвы.
Веселую, с печальными глазами,
порочную и чистую, как мать...

А в голове все мысли не прямые,
все непутевые воспоминанья
свились в клубок, и череп распирают,
и заполняют уши и глаза.

12.

Вот вижу я округлую соседку.
Пока я спал, она вошла без стука
и на киношно-книжном диалекте
мне говорит безумные слова,
буквальный смысл которых быть не может
ни правдой, ни подобием ее.
Она мне говорит... Но все неправда!
А грудь ее обтянута футболкой,
и поясом живот перепоясан,
и туфли на высоких каблуках.
И - Господи! - конечно же, я верю!
(Мешает думать красная футболка,
саднит в груди, и горло пересохло,
и все не так, и времени в обрез).

И я встаю, и руки опускаю,
и размыкаю слипшиеся губы,
и Бог простит мне, что я говорю...

13.

А вот еще. Какая связь? - Не знаю.
Но вот еще. Зеленая вода.
Вода и небо. Тишь да гладь морская.
И я плыву. А тело тяжелеет
и тянет вниз. А девочка в косынке
подбадривает криками меня.
Там, впереди, летают поплавки,
бесплотные и легкие, как чайки,
далекие, почти у горизонта.
Мне не доплыть. Я верю только в чудо
и точно знаю, что - не доплыву.

14.

Еще минута до того момента,
когда Она, в пальто своем зеленом,
в зеленом ослепительном берете,
(вся с холода, и губы, губы, губы! -
чуть тронутые розовой помадой)
войдет и скажет медленно:

"Ну здравствуй!

А я пьяна. А ты меня не ждал..."
Так вот, пока минута есть в запасе,
я вам скажу,
что десять лет спустя,
и двадцать лет спустя, и сколько будет -
я этот вечер не стряхну с ладони,
не сброшу с плеч, ничем не заменю.
Мне этот вечер тайны не откроет,
но посвятит в ее почетный орден.
И я пойму, что он всему причина,
что все пути и все перипетии
на нем сошлись, как спицы на оси.

Да будет так! Минута - истекла.
1968 - 69



ОСЕННЯЯ ХРОНИКА

*Город, так начал я, по моему мнению,
рождается тогда, когда каждый из нас
сам для себя бывает недостаточен и
имеет нужду во многих.*

Платон

0.

Не я к нему, а он ко мне привязан.
Я волен жить, я двигаюсь, как знаю.
Но что бы я ни выдумал, а все же
я чувствую, как медленная тяжесть
за мной перемещается по следу.
И каждый шаг становится работой.
Ступни скользят. А грудь сечет петля
жесточкого бурлацкого натяга...

1.

В огромной, омерзительной больнице,
питающейся стонами и вонью,
ощупываю теплые приборы
и в синьке затаившиеся схемы
беспомощно пыгаюсь разгадать.
Мне душно. Мне сейчас не до приборов. -
Сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра...
А впрочем, завтра - это не сегодня.
Сегодня я не кто иной, как я,
а завтра буду некто инородный,
иновременный, иноощутимый.
И вот я говорю: "Приеду завтра".
(Пусть он расхлебывает эту кашу).
Поспешно собираю инструменты
под въедливыми взглядами сестер,
беру за хвост дымящийся паяльник
и выхожу во двор. И острый воздух
меня укалывает прямо в сердце.
И так стою, вдыхая эту боль.

Больничный двор, зверинец тополиный,
прочесывают белые халаты.
Они плывут над брюками доцентов,
несущих убедительные папки,
над сапогами крепких санитаров,
бестрепетно глядящих исподлобья,
над голыми коленками студенток,
ласкающих свои фонендоскопы
игрушечными, робкими руками,
с лукавыми вкраплениями ногтей...

А возле морга - трупы разгружают.
И кажутся нелепыми до жути
наморщенные желтые бинты...

(О этот упоительный порядок!
Расчетливое племя человечье
все взвесило и все предусмотрело.
Ничем его теперь не удивишь!)

Больничный двор насыщен до предела.
Паноптикум. Судьба в миниатюре.
От мелкого, задавленного взгляда -
до хватки волосатых истуканов.
От нежных губ - до сумрачной работы,
когда несут свисающее н е ч т о,
которое мгновение назад...
Все объясняет тонкая наука.
Чем тоньше, тем точнее объясняет.
Уж так тонка - в очки не разглядишь...

2.

В заборе лаз - и я в Нескучном парке,
в веселом парке, в парке развлечений,
качелей, каруселей и колес.

Еще не поздно, но уже не рано.
Осеннее отчетливое утро
впечатано кленовыми листьями
в асфальтовую плоскость мостовых.

Чуть моросит. Не вертятся колеса.
Задраены ларьки и рестораны.
Пустые лодки дремлют на воде.
И только репродукторы на мачтах,
бессовестные, шумные жестянки,
живут нелепой, выдуманной жизнью,
растрачивают кукольные страсти,
тревожатся о всякой чепухе.
Лишь изредка смолкает перебранка.
и за руки на мокрые дорожки
выводят дребезжащего Шопена,
одетого в рабочие штаны...

Холодный парк изысканно красив,
как пасмурный инопланетный город,
как прошлое, покинутое нами.
Как прошлое, где каждая минута
существенна не меньше предыдущей.
Как прошлое, где всякая печаль
пронзительна до боли и желанна.
Как прошлое, в котором мы живем
томительной потусторонней жизнью.

3.

Мы начинали в этом самом парке,
осенним утром по опавшим листьям
с трудом шагая, как по чешуе.

Мы начинали с дальнего прицела,
с широкого и полного осмотра
пустующих площадок и аллей.

Нам надо было обойти полцарства,
чтоб выбрать ту, другую половину.
Никто не мог ускорить этот путь.

Он сам кончался где-то за домами,
за липами Покровского бульвара,
за стенами подвальных этажей.

В запутанных, угрюмых лабиринтах,
в каких-то прокопченных катакомбах,
в объятиях кухонной духоты.

Путь обрывался в тесной комнатухе,
во вдовьей келье тетушки-полячки -
портрет ее висел над головой...

4.

...Конец пути. Я выхожу из парка.
Бездомная, простуженная площадь.
Поникший мост. Холодная река.

Ах, мне бы только чуточку свободы,
чтобы пройти веселыми шагами
по правой - нет - по левой стороне!

Вот шаг один - и пролетают мимо
троллейбусы, киоски, светофоры -
шнурки ботинок вьются на ветру.

Вот шаг другой - мельканье лиц и окон.
без остановки, дальше, дальше, дальше,
куда-нибудь, куда-нибудь еще...

Ползу. Мой шаг и суетлив и жалок.
Больное сердце отстает от тела
и тяжело бьется где-то позади.

И, как сленца, подводят тротуары
меня к дверям коллегий и присутствий,
которых мне никак не миновать...

5.

Конечно же, случались промежутки.
Ну, например, хождения в кино.
Кошмарный сон. Когда включают свет,
и ты стоишь, запахивая шарф,
и что сказать? и держишь эту сумку,
и смотришь в незнакомое лицо

угодливо, потерянно и лживо.
Простится ли когда-нибудь тебе,
что фильм плохой, что скука беспредельна,
на улице мороз, пора прощаться,
что завтра снова - каждый за себя?

"А на работе есть такие парни!.."

6.

Таскаюсь по редакциям журналов,
свою любовь за деньги предлагаю,
за очень мало, за почти что даром.
Никто ее задаром не берет.
Ах, ласковые, милые болтушки!
Вы все добропорядочны, как дети.
Вас не прельстишь свободною любовью.
Законный брак! Законен только брак.
Все остальное - противозаконно...

Что для меня редакции журналов?

Вот женщина, доступная для многих,
бессовестно и нагло выгибаясь,
стоит в дверях - никак не обойти.
Она стоит - а ты проходишь мимо,
скосив глаза, груди почти касаясь,
почти глотая влажное дыханье,
почти обняв, почти заговорив.
Но если повторится все сначала,
то все сначала строго повторится.
Как ни крути, тут есть закономерность:
такие развлечения не для нас...

7.

А также были вечера и танцы,
куда я шел, как агнец на закланье,
как на экзамен - двоешник и лгун.

Мы приходили к самому разгару.
Сначала я шумел и торопился,

потом сдавался и уже без слов
снял пальто в пустынной раздевалке,
куда великий праздник высылал
случайные свои отображенья:
прически, юбки, сумки, зеркала,
чулки со швом и сигареты с фильтром...
Снял пальто - и в ледяную воду,
всегда один - она была из тех...

Всегда один - она была своя
среди этих лиц внимательно-веселых,
и на гору ползущих разговоров,
и музыки с господского стола.
Что предъявить мне этому собранью?
Чем доказать свою благонадежность,
помимо слов, царапающих нёбо,
помимо рук, не находящихся места,
помимо обнаженного лица,
сжигаемого едким освещеньем?

И вот я говорю себе: "Опомнись!
Иди домой, верни ей номерок -
дырявое пластмассовое счастье,
возьми пальто, не надо объяснений,
по синему бульвару, по морозцу,
иди домой - не бойся ничего.
Все будет хорошо. Она вернется,
чтобы кружить в ином водовороте,
где ты есть ты, какой ты ни на есть!.."

Так тонко, рассудительно и мудро,
метафорами речь перемежая,
я говорю - теперь, себе - тому.

Тогда же я смотрел поверх голов,
кривя лицо, вытягивая шею,
и, как подарка, ожидал поступка,
дурного ли, хорошего - любого,
заранее готовый преклониться,
покаяться, поверить и простить...

8.

В издательстве, где всжливые парни
ведут свои беспроигрышные игры;
где сходятся враждующие классы,
чтоб утонуть в сиянии улыбок;
где комнаты наполнены успехом,
как воздухом, и благосостоянье
свисает на пол гроздьями со стен -
в издательстве, в качающемся холле,
в травоподобном шелестящем ворсе -
гнездится мой заляпанный портфель.
Я тут же рядом, тут же по соседству,
придавлен креслом, выломан зигзагом,
разноголосым охмурен дурманом,
болван-болваном, лысый и больной.
Курил бы хоть - так было б оправданье.
Кто верит некурящему? И все же,
мне кажется, я ловко притворяюсь
таким же добряком, как эти люди,
ловцом удачи, служащим искусства,
приятелем кутил и пустомель.

Чего я жду, какого разговора?..

9.

Но вот и праздник. Редкая удача.
Отец, полубезумный алкоголик,
отправлен на ночь к тетке или бабке,
и мы одни, и дом сегодня - наш.

Пресветлый лик! - и платье голубое.
Дымок завивки - голубое платье.
Чулки со швом на трогательных икрах
и в черных туфлях узкие ступни.
Я послан за покупками. Я счастлив.
Мой взгляд скользит вдоль улиц, отражаясь
и преломляясь в лаке и стекле.
Москва, как пожилая потаскуха,
любительница грубых украшений,
стоит в огнях дешевых ожерелий,

браслетов, амулетов и значков...
Она навеселе. Не так, чтоб очень,
но бабьего не чуждая притворства,
подыгрывает общему настрою,
а что в уме - не приведи Господь...

И как кому - а мне не до сомнений.
Тревожная, игольчатая радость
в моем покорном теле разлита.
И нет сторон, когда я возвращаюсь.
Нет ни стены, ни потолка, ни пола,
а есть лицо - чуть высветлены губы
и в платью в тон подобраны глаза...

Сначала одинокая подруга
(проставленная в нашем расписании)
садится в кресло, ноги подобрал,
и голыми руками поправляет
резной подол гофрированной юбки,
и ежится, и мелет чепуху.
Я вслушиваюсь в символы и знаки,
вставляю незначительные слоги,
и думаю, что если бы, то все же...
и сам пугаюсь страшных этих мыслей,
и радуюсь, что так они страшны...

Мы пьем вино. Подруга исчезает.
И снова мир сужается до боли,
до острия, до кончика иглы...
Шероховато голубое платье,
и гладкая заключена в нем кожа,
и детский запах слабеньких духов
все наперед окутывает дымкой...

Ах, мне бы только верного безумья!
Я пью вино, потом вино и водку,
и, провалившись вдруг в таргарары,
опоминаюсь где-то на Колхозной,
в реальности простейших ощущений:
холодный холод, мокрая вода...

Седая ночь рапахивает ворот
и дует мне в лицо. Пустует память.
Вдруг кажется, что я здесь много дней.
Так я живу, ругаясь и качаясь,
хожу блевать вот в эту подворотню
и жду такси у этого столба...

Сто лет спустя, в бездонном коридоре
я двигаюсь домой, сшибая ведра
и паутину пальцами лоя.
Ах, вот и дверь, к которой ключ подходит.
За нею цель, достойная стремленья.
Там тело сна, домашнего, ручного,
потеющее, дышащее вонью,
ворочается тяжело с боку на бок,
и чмокает губами и сопит...
Пальто на гвоздь, ботинки - под диван.
Все кончено. Ничто не начиналось.

10.

Пора домой. Пройдусь по магазинам.
На пару книг копеек пожалею.
Куплю себе одну (когда б не дети!) -
дурацкую, неведомо, зачем.
Куплю котлет машинной дозировки,
и колбасы, и пачку маргарина,
вобью в портфель, где дремлют инструменты,
а там метро - нырнул и будь здоров!..

Чуть отдышусь и огляжусь с опаской:
не видно ли сияющих коленей,
и чистых губ, и осветленных глаз?
Все, слава Богу, тихо и спокойно.
Сидят напротив женщины что надо:
изрубленные, пористые лица,
фигуры бесфигурные и руки,
авоськами притянутые к полу.

Мне не до них, а им не до меня.
Беру журнал, вздыхаю с облегчением.
Завистливая, черная тоска
на этот раз души не потревожит...

1970





ЭЛЕГИЯ

*О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!*

Ф.Тютчев

1.

Все к одному. Докучливые песни,
мои интеллигентские болезни,
а также пролетарские обиды -
зачтутся мне по первое число.
Уже ползет буравящая сырость,
и если не чумой, то черной оспой
отравлен воздух на сто лет вокруг.
Рябь на воде, на лицах, на обложках,
рябая власть мне пожимает руку,
рябой мясник мусолит карандаш.
- Два двадцать две! - колдун и математик
швыряет кость и туго пеленает
и ловит чек - и вот она моя.
И шаткий дом - пожизненный троллейбус
везет меня, хотя и не уверен,
хотя и стар, хотя и трусоват.
Рябой водитель мне откроет двери,
и грязно-серый сумеречный снег,
весь в оспинах, уже переболевший,
забывший чистоту происхождения,
как грязный, пресмыкающийся выкрест,
замедлит бег - и плюнет мне в лицо...

2.

Куда мне деться? В Бога я не верю.
Боюсь, боюсь, а все-таки не верю.
Не верю вовсе. А уж как боюсь!
(Легко ли ощутить духовность мира,
когда, как гусь, ты густо нашпигован
плебейским духом материализма,
безрадостным еврейским чесноком!)

Угрюмые пророки Иеговы
не зря жевали хлеб и знали силу
распахнутой, незавершенной строчки,
поставленной с разбегу на-попа.
Великий клан, безумная семья,
но все до одного - головорезы!
От этих прочь. А что до Иисуса -
я рад ему. Но только он не Бог...

Так и живу. И вместо благодати -
чеснок и перец материализма,
бессонный, нерастраченный вопрос,
да вечная ухмылка демократа,
рискующего преклонить колени
пред кем угодно, кто велик, но равен,
пред тем, кто славен, - но не вознесен.

3.

Так и живу я - без благословенья,
со страхом в сердце - без предначертанья,
но также и без осужденья свыше,
сам по себе - невесело живу.

4.

Еще мальчишкой в черных шароварах,
с резинкой, заползающей под ребра,
мечтая о пятерке на кино,
на ярко освещенных тротуарах
я постигал прекрасные миры.
О благородство жаждущих напиться,
о запахи сиятельной жратвы!
Дыханье фантастической пещеры,
где по ночам на золоченых шпагах
готовят мясо диких кабанов...
Вот эти двое выпили и съели
все, что доставил ласковый сенатор,
отец родной, желающий добра.
Теперь их ждет учтивая прогулка,
расслабленный, негромкий разговор,
где каждое обученное слово,

не хуже дрессированной собачки,
цепляется за нужную ступеньку,
все выше, выше, все смелей, смелей,
и вот уже уверенная лапка
толкает дверь в кружащуюся спальню,
над мебелью, одетой в пеньюары,
витают смесь духов и нафталина,
и сдавленный, колеблющийся шепот
гнездится в складках матовых портьер...

5.

О Господи, ну что мы потеряли,
какая радость в юношеских бреднях
и что содержит, кроме страха смерти,
вселенский плач о прожитых годах?!
Вот песенки, которые мы пели,
изделия халтурного завода,
две-три строфы кустарного литья.
Знак символа, тень знака, символ тени,
все варианты словосочетаний,
ничто не означает ничего.

Теперь же мы разумны и свободны,
все домыслы нам заменяет опыт,
не повода мы ищем, а подарка,
все вне себя, и ничего - в себе.

Но прошлое, куда я так стремлюсь,
всегда при мне. Я, как скупой отшельник,
владею всем, не тратя ни гроша,
Ничья обида не прошла бесследно,
ничья усмешка не пропала даром,
все к одному и все в один котел.

Отныне, как рачительный хозяин,
я обхожу, кружа, свои владенья
и нахожу лишь там, где потерял.
К осыпавшейся пухлой штукатурке,
к давно снесенной лестнице подвала,
к пустой, несуществующей скамье -
я прихожу бессонными ночами,
чтоб ощутить, поцеловать святыню,
сладчайший вкус потери на губах...

б.

Переезжаем. М а с л я н а я к р а с к а .
Я лишний человек. Раскрыты окна.
И к радости примешана печаль,
как запах яблок к запаху олифы.
Богатый отчим закупил мешок
антоновских, литых, крупноголовых,
а в комнатах ремонт, раскрыты окна,
"грызи", мне говорят, и я грызу
зеленовато-кислую олифу.

Я выхожу во двор. Играют дети.
И робкий взгляд жидовского отродья,
ежеминутно ждущего подвоха,
я направляю мимо их голов.
Все обойдется... Я еще не знаю,
в какой тоске мне суждено метаться
между колодцем масляной окраски
и дружески обхарканным двором.
И что за цену заплатить придется
за хлеб и кров, за гречневую кашу,
за чай без счета, пахнувший лекарством,
за пару брюк и прочее довольство,
за вонь клопообильного дивана,
за пыль неистребимого ковра...

Скрежещет лед у водяной колонки,
уборная воняет керосином,
шатаются перила. Наверху
семь рыжих девок - замуж не выходят,
семь ражих баб - беснуются и воют,
и судят мир, и водят хоровод.
И так поют - до смерти не забудешь:
еврейский вопль и русская безмерность,
и вяжущая нежность-полукровка,
на голоса разложенная боль.
Вот так и жить. Вдыхать уютный воздух,
где с потом перемешаны флюиды
прикосновений, вздохов и намеков,

и слез, и необузданных любвей.
Вот так и петь. Хлебать по вечерам
свекольник из веснушчатой тарелки
и на диване, опершись на локоть,
с девицами тягаться в дурака.
Так и не знать того, другого дома,
в котором полумрак и неподвижность,
где царствует умеренная сырость
и лживая тугая тишина.
(И лучше так, и только б не прорв́алась,
боишься тронуть, Боже упаси!)

Два этих слова: "масляная краска"
еще должны проплыть по коридору,
в пути теряя желтизну и гладкость
и холод учрежденческой стены.
Им надо разогреться и сгуститься,
и пропотеть, и сладко так запахнуть,
и выплеснуть себя, разгорячившись,
и расползтись ребристыми пленками,
и чудо из чудес, вовеки чудо! -
мозаика ложбинок и бугров,
так счастливо совпавшая с рисунком!

А живописец был крестьянский парень,
Всеподданнейший пестун академий,
еще живой, еще не приобщенный,
еще не получивший - по труду.
По праздникам он выходил на площадь,
на перекресток черных коридоров.
Аккордеон - душою нараспашку,
весь излучая пьяное сиянье,
лежал в обнимку на его груди.
И шепелявый маленький еврей,
Бог весть откуда взявшийся приятель,
цел всеми обожаемые песни,
где не было ни музыки, ни слов,
но лишь желанье музыки и слова.

А может быть, в них было все, что надо?
Мне не судить. Послушать их теперь -
как будто в гости к женщине придти,
пятнадцать лет назад окаменевшей.
Придти к живой. Поцеловать ей руку
(прожилки, кольца, сломанные ногти),
беспечно исчерпать жите-бытье -
и вдруг споткнуться беспокойным взглядом,
и что-то там в душе переменить,
перемешать, чтоб не было соблазна
мурыжить ускользящую нить.
Чтоб не было желанья гладить плечи,
и отвечать впопад, и скалить зубы,
и с каменным бесспорным изваяньем
пытаться эту тень соединить...

Салатово-лимонные пейзажи,
съедобно-абрикосовые лица,
лилово-голубые небеса...
Холсты висели ровными рядами,
и, валенки снимая перед сном,
глухой старик, отец его, жестянщик,
глядел в упор и мог, коли хотел,
узнать свою родимую деревню,
а не хотел - так мог не узнавать.

7.

Мой город расплзается все шире
и, как пятно чернил на промокашке,
в лиловый цвет людского копошенья
окрашивает белые поля.
И те часы, что я живу на свете,
окрашены лиловыми тонами:
каленный шарик, пахнувшая паста,
да вскользь еще - лиловая решетка
на записных негнущихся листах.
Те два часа, что я живу, как барин,
(там за стеной ворочаются дети,
им видятся воинственные сны,

густые, как рисованные фильмы,) я пью чай, жую неторопливо, и думаю, и можете поверить, ни за кого себя не выдаю. Потом, когда не требует поэта Великая Дневная Толчея, я отсылаю всем без исключения свое лицо с оплаченным ответом и за ночь отсыревшие мозги сушу на проводах под напряженьем.

8.

Баллоны ламп, мои спинозьи стекла, вишневые тугие волдыри! Транзисторы, трехлапые букашки, впечатанные в сети пауки, мой сладкий мозг сосущие с любовью! Еще я открываю рот для крика, еще рывком заглатываю воздух, еще хриплю - но слов не разобрать.

9.

Когда-нибудь я выйду, как обычно, в полурассвет троллейбусного утра, в широкое морозное дыханье январского неначатого дня. И удивлюсь: откуда эта легкость? А это разожмет свои суставы бессменная ватага инструментов, кочующая армия Махно. В моем портфеле будут только книги, писанья болтунов и недоучек, да кое-что - едва из-под машинки, да что-нибудь - в пустых еще листах. И я спущусь в метро, согрею руки, и, потрясенный изобилием женщин, устрой конкурс, строго отбирая по цвету глаз и стройности фигур. И никуда не буду торопиться, А в это время *Алгернейтинг каррент*,

Светлейший ток - сквозь вакуум прорвется
и, торжествуя, выйдет в потолок.
И сразу, как бездомная поземка,
там наверху, по белому проспекту,
шурнаций зов: "Ищите инженера!" -
пиратский клич мучителей моих.
И, голсу втянув поглубже в плечи,
я повторю: "Ищите инженера!" -
и книжкой легкомысленного свойства
от ласковых убийц отгрожусь.

10.

Мизантропия - та же энтропия.
Всеобщий хаос, логарифм несчастья,
та мера одиночества, которой
мы меряем последние шаги.
Неужто тяжесть века в том повинна?
Неужто даже мы под этим гнетом
теряем форму, вязнем и течем?
Завистники, ревнивцы, честолюбцы,
давайте соберемся, как обычно,
слетимся все на наш последний шабаш,
в ладоши хлопнем, скажем заклинанье,
и обернемся лучшими друзьями,
а наши парниковые улыбки
так жарко разогреют атмосферу,
что впору выключать теплоцентраль.
Давайте поиграем в доброту.
Я вам, вы мне. Хорошенькое дело.
Пока еще летает этот мячик,
все ничего. Но если он сорвется -
тогда хана. О Господи, неужто
никто ни перед кем не виноват?!

11.

Серебряный декоративный день,
накрытый глазированной крышкой,
звенит-гремит, как город в табакерке,
сам по себе, и я тут ни при чем.

Вот радужные лыжницы толпятся,
выпячивая бодрые зады,
имея сто одежек без застежек,
отточенные тыча оперенья
в ребристую троллейбусную дверь.
Вот пьяный мой сосед, хороший парень,
стукач и сводник, плут и алкоголик,
слюной умылся, хлебушком утерся,
несет-ползет - и пива не забыл.
А вот моя жена от остановки,
вся торопясь, вся в сумках и авоськах,
наискосок, пружиня и скользя...
А он ее приветствует, как может,
и по ее прекрасному лицу
чернее мухи взгляд его елозит.
Она идет, восходит по ступенькам,
и праведный, отшельнический кашель
стучится в дверь и сердце мне сжимает
безадресной мучительной тоской.

Кому мне предъявить мое унынье,
на чей мне счет перевести терпенье,
чтоб долгожданный ветер перемен
коснулся лба горячими губами?

Прости, Господь, и не лови на слове.
Переменить? - Немедля переменяем.
Сейчас вам будет все наоборот...

12.

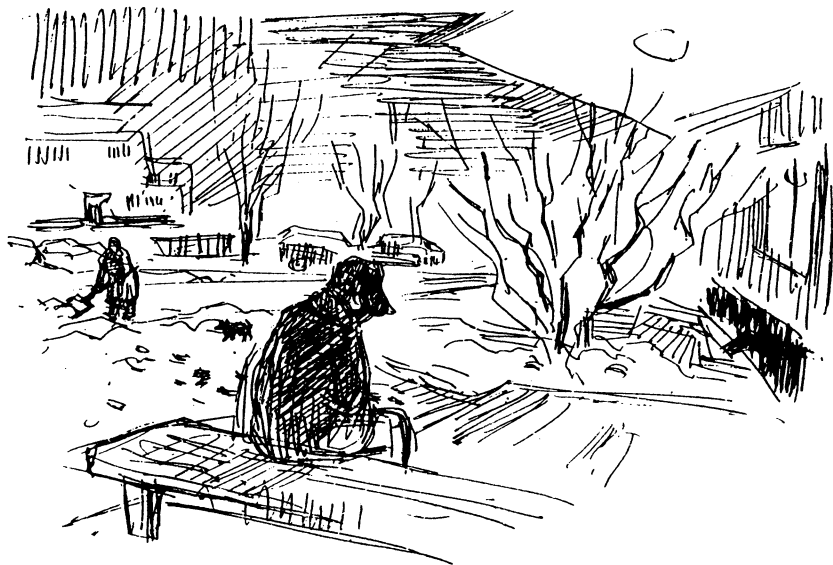
Нет, грех роптать. Пока здоровы дети;
пока меня уральская тайга
не приласкала писком комариным,
пока не окунула мордой в снег,
сухой и жесткий, как наждачный камень;
пока я о сосну не бьюсь затылком;
пока я жив - и радуюсь погоде,
пока здоров - и от кошмарных снов
еще меня спасает пробужденье;

пока я заморожен и обижен,
пока я раздражителен и сух -
все хорошо, чего и вам желаю.

Я прожил жизнь не хуже, чем пытался,
все выжал из нее и все в ней выжил,
и кончился. И просьба не винить.
И нет меня. Но остаются дети.
Ночь на исходе, утром на работу.
Привычную напялив оболочку,
я вновь прикинулся теплым и живым.
Мой внешний вид вне всяких подозрений,
ни зеркала, ни взгляды сослуживцев.
Но есть глаза, есть два таких зрачка -
в которые вошла без искажений
моя потусторонняя тоска...

1972





V. ПОСЛЕ ВРЕМЕНИ

* * *

Распадаются мысли, и каждый осколок
застревает и ноет в сознание моем.
Я живу на пригорке, и зимний поселок
словно Брейгелем врезан в оконный проем.

Эти бледно-холодные близкие дали,
эти ребусы птиц, и людей, и собак -
как бы сами зовут, чтобы их разгадали,
и пророчат: едва ли и как бы не так!

Птица - глупая тварь, и душа ее птичья
вместе с телом парит, без особых примет.
И она не свихнется, постигнув величье
и ничтожество мира в единый момент.

Но Господь бережет наш изнеженный разум,
опекает, ведет, опускает на дно.
"Вот собаки, и люди, и птицы, а разом,
целиком этот мир - вам познать не дано!"

И не надо. И верно: вершинами елок
ограничен простор и реальность сама.
Но зачем же так ноет в сознание осколок?
Так мы сходим с ума. И не сходим с ума.
1984

ИДУЩИЕ МИМО

Что ни башка, то образина.
Несут, урча и лопоча,
кто - два плеча из абразива,
кто - два зажатых кирпича.

Они зачаты от испуга
и рождены из тьмы во тьму.
И так опасны друг для друга,
что ходят врозь, по одному.

Нельзя коснуться, не поранясь.
По бровке - как по краю рва.
И странно вдруг, что, иностранец,
ты понимаешь их слова...
1984

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

Сыну-художнику

Болтал по радио болтун
про выставку почтовых марок.
Шел снег, и таял на лету,
и солнце вышло, как подарок.

И одинокий натюрморт
в его луче на миг короткий
вдруг рожки выставил, как черт,
и двинул спичечной коробкой.

И с ясным шорохом в тиши
погас - как штору опустили.
"Вот озарение души! -
подумал я в высоком стиле.

- У бездны вырванный кусок..."
И посмотрел: на фоне бревен
был край картона, как мазок, -
оборван, нервен и неровен.

И я невласт подумал: "Нет!
Куда мне к тем, канадским соснам?
Здесь белый снег - как белый свет.
Здесь д о м - в прямом и в переносном.

Свобода? Мода, болтовня,
смесь ладана и алкоголя.
Свобода там, где нет меня,
а там, где я, всегда неволя.

Что мне сияющий вертеп?
Что все разливы изобилий?
Пусть черный труд,
Пусть черствый хлеб.
Беру!
Вот только бы - не били..."
1986

БАЛЛАДА О РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИИ

Ударил с вечера мороз.
Собаки в морду лают.
Висячий мост, железный трос,
сорвешься - не поймают.

Скриплю резиновой ходьбой,
ступаю, как придется.
Там дом с трубой, здесь дом с трубой,
заборчики, воротца...

Вдыхаю воздух - благодать,
гляжу на небо в звездах,
а мыслю: как их угадать,
бухих или тверезых?

Кто мимо - мирный гражданин
иль вор и Стенька Разин?
А я один, как сукин сын,-
за хлебушком, в магазин...

Одна надежда, что бандит
и Разин, слава Богу,
пока кино не доглядит,
не выйдет на дорогу.

Кто там в чужие рubeжи,
кого - не доловили?
Уж ты держи его, держи,
Олег Басиладвили!

Держи в упор. Да не того,
что высосан из пальца,
не своего - а моего,
как со-переживальца.

Олег - орел. Он зрит и бдит.
Он крепко понимает,
что жизнь идет, пока бандит
бандита не поймает.

Пока следит живая гнущь
за свежесочиненной,
я, может, живо обернусь
с буханкой вороненной.

Пройду назад при свете звезд
и отсвете экранов;
взойду на мост, как на помост,
как в сказку про баранов;

доковыляю, доскриплю,
вползу в свою избушку,
запру и печку растоплю,
и отломлю горбушку;

врублю глушилок разнобой;
расслышу срок - и имя.
Там дом с трубой, здесь дом с трубой -
да пропасть между ними...

"Судьба - труба, судьба - раба, -
сказал московский лидер..."
А мне пока что - не судьба.
И все, чего не видел,

я завтра утром досмотрю
в спокойствии сохранном,
за что навек благодарю
Олега - с Юлианом.
1985

* * *

Все то, что со вчерашней, с поза-
вчерашней ночи, впопыхах,
пересказать пыталась проза -
куда как проще бы в стихах.

Но в давних днях начало цикла
петлей повисло на суку.
За долгий срок рука отвыкла
на рифме обрывать строку.

От верных слов отвыкло ухо.
Отвыкла память от любви.
Глаза влажны, а горло сухо,
и душит ворот, как ни рви.

И как душа еще ни ропщет,
а эта страсть уж не по ней.
И что ни выхрипит - а проще
могла бы в прозе. И верней.
1986

СОДЕРЖАНИЕ

I. ТРАМВАЙНАЯ МОСКВА	3
"Москва пропахла..."	3
"Я проеду-пройду по Сущевскому валу..."	3
"Пока на Трубной не растаял снег..."	4
"Трамвайная Москва тебя скрывает..."	5
Сон	6
"Но вот уже косым пером..."	7
Дом отдыха	7
"Обрываются в море скалы..."	9
14-е октября	10
"Когда заботы звякнут по копилкам..."	10
"Тоска вечерами такая..."	11
"Как ни были бы мы в детстве уязвимы..."	12
"А лучше бы взглядами нам не встречаться..."	12
"Цыганки бродят по Москве..."	13
"Жара Куда-нибудь и с кем-нибудь!..."	14
"Кому там не спится, кому - приобщиться к утрате..."	14
"С утра живописец не ел ничего..."	14
"Художник, расчетливый малый..."	15
"О чем ты думаешь, мыслитель,	15
"Чтоб вселенная луч нитевидный..."	16
ДОМ ЛИТЕРАТОРА. Два стихотворения	17
1. "Ах, есть еще на свете крабы..."	17
2. "Конечно, жаль! Слюнявый дурачок..."	17
ОДЕССА. Четыре стихотворения	18
1. Первая ода городу	18
2. Улица	18
3. Пляж	18
4. Последняя ода городу.	19
Еврейское кладбище	20
МАРЬИНА РОЩА. Шесть набросков тушью	22
"Покуда жил мой дед, так он, бывало..."	26
Еврейская идилия	26
Что я могу	27

II. ЧУЖОЕ ОКНО	
СУМРАК. Три стихотворения	
1. "Я послушаю вас, чтобы там, в стороне..."	30
2. "По улице, по улочке, по краю..."	30
3. "Ах, как холодно, ветрено, муторно!..."	31
"Непостижимая, немая пустота!..."	31
"Огромные гири ползут, отмеряя века..."	32
ДВЕ МОЛИТВЫ	32
1. "Боюсь писать. Все тот же страх..."	32
2. "Избави, Господи, от тени Мандельштама..."	33
Память	33
"Вся мокрая, подрагивают икры..."	34
Чужое окно	34
"Кабина лифта. Лестница. Зигзаг..."	35
"Эта улица помнит меня ребенком..."	36
"Запах мокрого снега - пароль беспокойного дня..."	37
Бар	37
"Над новыми детьми, играющими в "классы"..."	37
"Так я брожу - от угла до угла..."	38
Много лет назад	38
ДИКИЕ ПЕСЕНКИ. Девять стихотворений	39
1. "О это одиночество блужданий..."	39
2. "Локальный цвет, как праведник в пустыне..."	39
3. "В рабочей столовой - еврейская буйная свадьба..."	40
4. "Осенний ветер - будто плач ребенка..."	41
5. "Как поступь легкая, как платье в оборках..."	41
6. "Так мало - и уже пора..."	42
7. "Утро звенит топором и стамеской..."	42
8. "И снова и холод, и дождь..."	43
9. "Очень холодно. Некуда деться..."	43
III. ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ	46
Из-за кулис	46
Прощание с друзьями	47
"Бесполезно копить обиды..."	48
ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. 1970 - 71	48
"Далекая сказка, веселая пьянка..."	48
"Сны нашей юности, восторги ожидания..."	49
"Снегов распаренных и памятных лесов..."	49

"Я сам не свой, хоть я и сам не ваш..."	50
ДЕВЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ. 1973	50
1. "Все тот же след под колесом..."	50
2. Два памятного (Гоголь)	52
3. "Голпа уродов и калек..."	52
4. "Такой соблазн - вагон и полка!..."	52
5. "Я говорю: пойду пошляюсь..."	52
6. "Никаких перемен, как лицо ни царапай..."	53
7. "Ключей памятью Ван-Гога..."	54
8. "От резкого света, от колкого снега, от ветра..."	54
9. "Прямая речь! Покровы сняты..."	55
ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. 1974	55
1. "Материя, добрейшая праматерь..."	55
2. Простая песенка	55
3. Английские чтения	56
4. "В гармонию из хаоса и праха..."	57
IV. ТРИ ПОЭМЫ	59
ЮБИЛЕЙНАЯ ПРЕЛЮДИЯ	59
ОСЕННЯЯ ХРОНИКА	67
ЭЛЕГИЯ	78
V. ПОСЛЕ ВРЕМЕНИ	89
"Распадаются мысли, и каждый осколок..."	89
Идущие мимо	89
Патриотическое	90
Баллада о радио и телевидении	91
"Все то, что со вчерашней, с поза-..."	93

КНИГИ ЮРИЯ КАРАБЧИЕВСКОГО

ВОСКРЕСЕНИЕ МАЯКОВСКОГО.

Мюнхен, "Страна и мир", 1985;
Москва, "Советский писатель", 1990

УЛИЦА МАНДЕЛЬШТАМА.

Сборник эссе. Antiquary, США, 1989

НЕЗАБВЕННЫЙ МИШУНЯ.

Москва, Б-ка "Огонек", 1990

ТОСКА ПО ДОМУ.

Москва, "Слово", 1991



